

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

ВЛАДИМИР
ЩИРОВСКИЙ

ТАНЕЦ
ДУШИ



MMVII



МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ

ТАНЕЦ ДУШИ

Стихотворения и поэмы



Водолей Publishers
Москва – 2007

ББК 84Р7-5
Щ87

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
В. В. Емельянов (Россия),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
В. А. Синкевич (США),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
Л. С. Флейшман (США)

Составление, послесловие и комментарий *В. Емельянова*

ISBN 5-902312-96-5

© В. Емельянов, составление,
послесловие,
комментарий, 2007
© Водолей Publishers, 2007

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. * * *

Ужели Люцифер меня связал
С Лукрецией Луки Джордано?
О, тело, запрокинутое странно,
Казалось, я и вправду осязал.

Был в этот день закат кровав и ал,
Как в горле розовеющая рана,
И вышла ты из книги, из обмана,
И в мой сошла молитвенный фиал...

И я тебя испил, как пьют вино,
До дна. И страшно заглянуло дно.
.....
Я осужден на вечные скитанья
Тарквинием без цели и стяжанья?

1926

2. А. П. ШАТИЛОВОЙ. АКРОСТИХ

Кресты не носят дат рождений и кончин,
И кладбище течет, в пустую степь впадая,

Таинственно влача от мая и до мая
Астральную тоску отверженных руин.

Грядущему вручен, не я ль, скажи, один,
Отцветшим словесам цветенье возвращая,
Радел о ризах роз и звал коснуться края
Одежды бывших лет и кубка давних вин?

Дари меня цветком, улыбкой и портретом,
Еще умней пойми велеречивый пыл
Целующихся пар и мирных благолепий...

Кресты не помнят дат. Люби кресты и степи,
А я уже нашел меж храмовых стропил
Язык молчания о бывшем и отпетом.

1926

3. ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Исполненные долгого цветенья,
Мы понесли вблизи сердец своих
Спокойные и влажные камня
Причастных мирозданию мостовых.

Полдневный путь был ревностью отмечен,
Касаньем камня к сердцу. Облака
Безгневно жили, воздвигался вечер,
И ветр классический, и горестный закат.

Но, утомясь последним созерцаньем
Мучительных сближений, воля вежд
Прияла вновь Элизиум Надежд,
В предельной нежности, в безмерном чарованье.

И в комнате, в которой вечера
Слагают полусветы на эстампы,
Нас приобщает свет зеленой лампы
Преджизненным свершеньям до утра.

И благ, и неизведанно спокоен
Зеленый сумрак – никогда не рань
Живущего познавшею рукою,
И жизнь являй, как сладостную дань,

Простую дань сладчайшего почина
Земле, прошедшей множество небес...
О Рокамболь, бубновый интерес,
Качели, бури, старость и кончина.

Март 1927

4. * * *

Дни золоты и розы алы,
И всё реально.
И бывшей младости хоралы
Звучат политонально.

И не сопьюся я, пожалуй,
И не заплачу,
Левкой иссохнувший и вялый
Любя тем паче.

Живу надменно и чердачно
И сокровенно,
И не скорблю, что всё пустычно
И неизменно.

1927

5. * * *

Пигалица злополучная,
Скачет она,
Наша романтика скучная,
У моего окна.

Дочку мою Аглаю
На подоконник сажаю,
И, младенческой десницей
Растворив окно,
Она ошалевшей птице
Приятно дарует зерно.

Я думаю: девочка милая,
Дура моя золотая,

Зачем я хвастаю силою,
Умные книги читаю?

Пусть тебе песни нравятся
Этого юного люда.
Ты вырастешь красавицей
Под пигалицыны баллады.
Будь умной: я стар и глуп.

1927

6. * * *

Есть в комнате простор почти вселенский.
Весь день во мне поет Владимир Ленский,
Блуждает запах туалетных мыл.
И вновь: «Ах, Ольга, я тебя любил!»

Прекрасно жить. На письменном столе
Лежат стародворянские пруды,
Мерцают лебеди. Навеселе
Звучат гармошек громкие лады,

И громы ладные старинных ливней
Звучат еще прекрасней и наивней,
Чем до восстанья в октябре.
Вот, проползая по земной коре,

Букашки дошлые опять запели
Интернационал, и по панели
Мятецца трудовой и пыльный пыл.
«А знаешь, Ольга, я тебя любил!»

1926–1927

7. ПАМЯТЬ

Анне Петровне Шатиловой

Времена возникают. Взрастает в сверканьях
и дымах
Площадей небывалых суровый безумный гранит,
Но ушедших от нас, и поэтому только любимых,
Моя память спокойно, свободно и нежно хранит.
Предстают созерцанью, полюбившему холод
и ясность,
Лица бывших друзей, обстановки забытых квартир.
Я люблю примилившую всё неизбывную разность
Между обликом мысли и обликом, видевшим мир.
И живут невесомые доли усердных веселий
И любимыми ставшие образы старых коварств,
Города, переулки предместий, дома, водоемы,
качели
И в покинутой комнате стол и жеманный бювар.
Там когда-то, читая «Айвенго», я пугался потемок,
Населявших пролет между двух этажерок в углу,

Там встречал я рассветы, и был бестревожен
и тонок
Луч серебряно-красный в окне, прикивавший
к стеклу.

Там позднее любил я по ночам, когда все засыпали,
Видеть радуги в сонных глазах и биению крови
внимать,
Начинался дремотный полет и в кошмарном фиале
Предпоследними секстами дом сотрясала зима.
Там рождалась нетвердая, тяжкая, робкая
зрелость...

Жив ли стол, озарявшийся первым любовным
письмом?

Кем разбита та лампа, что некогда вяло горела
В одиночестве бурном и в преображенье ночном?
В строгой памяти живы друзья, и вино расставанья
Затаил и сберег любопытный и дерзостный вкус,
И в часы неожиданных дум, на случайном диване
Мнится сладостным бремя постигнутых девичьих
уст.

Но пленительно время, и пространство
неумолимо,

И безмерно число обаяний ночных и дневных.
Колдовские поля и столицы прекрасные дымы
Обнимаются зреньем, дорогами окружены.
Жизнь и смерть обручаются: в веснах, и летах,
и зимах

Сочетаются ветер придорожный с чернокнижием
уличных плит.

И ушедших от нас, и поэтому только любимых,
Моя память спокойно, свободно и нежно хранит.

Октябрь 1927
Харьков

8. * * *

Вот в слова пресуществилась сила.
Только кто же помнит древний мир –
Юноша в пенсне библиофила?
Женщина, что нюхает эфир?

Нет, он жив, и времена бессильны
Переплавить этот медный, пыльный,
Но такой торжественный убор;
Он живет, чужому чуждый маю,
Памятью моей припоминая
Плеск колодца, говор, стук амфор...

И в тебе его немая сила
Оживляет исступленье гроз;
И твоей, твоей рукой Далила
Похищает прядь моих волос.

1928

9. ТЕАТР В УСАДЬБЕ

Скульптурный плющ венчает смутный зал.
Бесцветные не движутся портьеры,
И тени так загадочны и серы,
Как будто их никто не описал.

Тяжелых кресел первый ряд упал
Границей примитивного партера,
И сцена, где в забвенье чувства мера.
С трагедией сплетался мадригал.

Здесь царствовал высокий Бомарше,
Здесь возникали пламени в душе
У зрителя от возгласа и позы...

И я пою слегка печальным «О!»
Широких ваз лимонное стекло
И в рюмках архаические розы.

Харьков, 1928

10. * * *

Ляле Н.

Возьми меня к себе и чаем напои,
Мечтательно позволь глядеть в глаза твои.
Я радуюсь тому, что плоть твоя крепка,
Что детская с цветком не зыблется рука,

Что в будущем году тебя полюбит тот,
Которого пока лишь чаёт детский рот,
Что много лет спустя и ты, и ты умрешь,
Как облако, как дождь, как вызревшая рожь.

И если это так, и если это ты,
Частица милая веселой суеты,
Раздумчиво вошла в мой картонажный храм,
Рассеянно вняла моим пустым стихам –

То я уже живу, то я опять готов
Бродить и ликовать средь бурных дураков,
Хотя бы потому, что и тебе они
В счастливые цвета размалевали дни.

Харьков, 1928

11. * * *

А. Н. Рагозиной

В милом доме, доме старом
Пахнет тестом и угаром,
Угли звякают в печи.
В довершение к картине
Был бы кстати легкий иней,
Банты, фанты, флирт, рояль...
Только вот весны, вина ль,
Ничего уж мне не жаль.

Будьте славною девицей,
Черноглазой, круглолицей,
Вроде тех, которых я
Знал на утре бытия.
Ешьте, пейте и учитесь,
К Вам придет прекрасный витязь,
Оком светел, ликом чист,
Инженер-специалист.
Вы полюбите друг друга,
И потом курорты юга
Посетите, впадши в брак.
Ведь всегда бывает так.
.....

Только тело исплясалось.
Всё прошло, и даже жалость.
И теперь весны, вина ль,
Ничего уж мне не жаль.

Харьков, 1928

12. * * *

Александрю Владимир. Науману

Взглянув на модное пальто,
Скажи лукаво и сердито,
Что в мире ново только то,
Что было хорошо забыто.

И что смеются без конца
Над нашей маленькой печалью
И наши старые сердца,
И наши рукава и тальи.

Но всё же, подойдя к окну,
Ты галстук завяжи прилежно
И выходи гулять, луну
Любя растерянно и нежно.

И, будто май тобой открыт,
Бреди сквозь легкий холод мая,
На невский голубой гранит
Улыбки Фауста роняя.

Петербург, 1929

13. * * *

Мудрая топится печь,
Время проходит. Ужель
Может взманить и увлечь
Лишь достижимая цель?

Шорох в углу. Как и нам,
Крысам известна череда
Жизнь опаляющих драм
Славы, любви и труда.

Сумерки в старом саду,
Но не скрипит турникет.
Здесь не гуляют в бреду,
Здесь не играют в крокет.

Здесь с неученым котом
Ты постучишь у дверей,
И, дорогая, потом
Станешь женою моей.

Благословим в тишине
Страшных дорог произвол,
Ибо пришла ты ко мне,
Ибо к тебе я пришел.

Старчески ясно любя,
Стану я петь и молчать,
Буду Татьяной тебя
Или Людмилою звать.

Черная каша и щи,
Комната, книга, жена.
Больше судьбы не ищи.
Эта судьба найдена.

1929, Петербург

14. ЗЕЛЕНЬ ОГОНЕК

Екатер. Ник. Рагозиной

Иногда, томим земной поклажей,
Я бреду, совсем не чуя ног, –
Вдруг на высоте шестых этажей
Заблестит зеленый огонек.

Сквозь ночные, гадкие туманы
Детским светом помянут меня.
Я ли откажусь от кроткой взманы
Милого, зеленого огня?

И тогда, как Божее творенье,
В вещей миг зачавшись и поспев,
Возникает в тучном поле зренья
Некий романтический посев:

Ясно вижу я, в восторге хмуром
Уличных не видя благ и зол,
Лампой под зеленым абажуром
Благолепно освещенный стол.

Там, в своей пленительной квартире,
Что до слез напоминает рай,
Та, моя, единственная в мире,
Царь-Девушка разливает чай.

Сестры вокруг стола сидят и братья,
И кипит праотчий самовар,

И покрой ее земного платья,
Как весна, неизмеримо стар.

И ее земные разговоры,
Как цветы, бесцельны и просты,
И ее не посещают воры,
И ее не гневают скоты.

И в ночи, зеленым детским светом
Робкого в окошке огонька,
Кажет путь она своим поэтам
И манит, манит издалека...

И когда, отбыв земное лихо,
Тело свой преодолет срок,
Полетит душа легко и тихо
На зеленый милый огонек.

Харьков, 1929

15. ПОЭТ И МУЗА

Дрова сгорели. Денег нет.
И Музе говорит Поэт:
«Я мерзну, дорогая Муза.
Ужели Ты велела так –
Чтоб безлюбовно и кургузо
Скроили мне земной пиджак?»

Земные зимние костюмы
Для пения мне столь нужны –
А ты мне протянула юмор
С жеманной примесью луны.
Вот – слезы по лицу размазав –
Я Достоевского прочел...
Я – не Алеша Карамазов,
Я нежен, мрачен, слаб и зол.
Я флирт и лира, в лик из клира,
Ты век и ветер, ты мир и миф.
Мне холодно, моя квартира
Меня страшит, во мгле застыв.
И право же – какого черта?
Меня давно томит мороз
И дым последнего сорта
Сих заунывных папирос.
Я целый месяц – слышишь, Муза, –
Не привожу девиц к себе...
О, страшный вес земного груза
На поэтическом горбе!»
А Муза, ластясь и виясь,
Тихонько шепчет: «Нежный князь!
Премудрый отрок, смутный инок,
Не плачь из-за пустых лучинок.
Дитя мое, агу, агу,
Я милая, я всё могу,
Всё будет, всё: дрова и слава...
Живи, как облака и травы,
Точись, как нож, и зрей, как рожь...
Вот ты померкнешь и помрешь.

И, одарен посмертной славой
При сладком пении скопцов,
Мой хмурый мальчик, мой кудрявый,
Придешь на мой любовный зов...»

Скребутся крысы. Гаснет свет.
Заплаканный молчит Поэт.

Петербург, 1929

16. ЛАДОНЬ НА ГЛАЗАХ

Нам и пуль роковые свинцы,
Нам и в светлых снегах бубенцы,
Нам и нежность, и книги, и водка.
Но смешна и обидна давно
Потаскухи кривая походка
И невкусно простое вино.

Я впадаю в тебя, гадкий день,
Я впадаю в твою дребедень,
Как впадает в маразм старикашка.
И, вкушая свой утренний чай
Из цветистой фаянсовой чашки,
Сам себе говорю – «не скучай».

Скоро вечер придет посидеть
В мою темную, хладную клеть
Под имперскую, старую крышу...

И, сжимая перстами перо,
Я азийскую флейту услышу
Или модный тромбон «Фигаро».

А кругом и обида, и стыд,
Злится прачка и примус шумит,
И штаны замаравшего сына
Учит отчего гнева лоза.
Но подружка моя Мнемозина
Мне ладонью закроет глаза.

Можно выстроить карточный дом,
Можно черствым и злостным стихом
Современников переупрямить;
Можно просто ценить вечера
И свою олимпийскую память,
Предводящую бегом пера...

Но к чему многомерность планет,
И театр, и завод, и совет,
И отхожее место, и койка –
Если крепче аттических бронь
Эта женская – верно и стойко –
На глазах моих медлит ладонь?

Петербург, ноябрь 1929

17. СОНЕТ

А. П. Ш.

Квартира снов, где сумерки так тонки,
Где царствуют в душистой тишине
Шкафы, портреты, шляпные картонки...
О, вещи, надоевшие зане.

Да, жизнь звучала бурно, горько, звонко,
Но смерть близка, и ныне нужно мне
Вскормить собаку, воспитать ребенка
Иль быть убитым на чужой войне.

Дабы простой, печальной силой плоти
Я послужил чужому бытию,
Дабы земля, в загадочном полете

Весну и волю малую мою,
Кружась в мирах безумно и устало,
В короткий миг любовно исчерпала.

1929, Петербурге

18. * * *

Возник поэт. Идет он и поет.

Е. Баратынский

Убийства, обыски, кочевья,
Какой-то труп, какой-то ров,
Заиндепевшие деревья
Каких-то городских садов,
Дымок последней папиросы...
Воспоминания измен...
Светланы пепельные косы,
Цыганские глаза Кармен...
Неистовая свистопляска
Холодных inferнальных лет,
Невнятная девичья ласка...
Всё кончено. Возник поэт.
Вот я бреду прохожих мимо,
А сзади молвлено: чудак...
И это так непоправимо,
Нелепо так, внезапно так.
Постыдное второрождение:
Был человек – а стал поэт.
Отныне незаконной тенью
Спешу я сам себе вослед.
Но бьется сердце, пухнут ноги...
Стремясь к далекому огню,
Я как-нибудь споткнусь в дороге
И – сам себя не догоню.

1929, Петербург

19. * * *

Нет, мне ничто не надоело!
Я жить люблю. Но спать – вдвойне.
Вчера девическое тело
Носил я на руках во сне.
И руки помнят вес девичий,
Как будто всё еще несут...
И скучен мне дневной обычай –
Шум человеков, звон посуды.
Всё те же кепи, те же брюки,
Беседа, труд, еда, питье...
Но сладко вспоминают руки
Весомость нежную ее.
И, слыша трезвый стук копытный
И несомненную молву,
Я тяжесть девушки небытной
Приподнимаю наяву.
А на пустые руки тупо
Глядит партийный мой сосед,
Безгрешно начиная с супа
Демократический обед.

1929, Петербург

20. ДУАЛИЗМ

Здесь шепелявят мне века:
Всё ясно в мире после чая.

Телесная и именная
Жизнь разрешенно глубока.
Всем дан очаг для кипятка,
Для браги и для каравая,
И небо списано с лубка...
Как шпага, обнажен смычок.
Как поединков, ждем попоек,
И каждый отрок, рьян и стоек,
Прекраснейшей из судомоек
Хрустальный ищет башмачок.
И сволочь, жирного бульона
Пожрав, толстеет у огня.
И каждый верит: «Для меня,
Хрустальной туфелькой звеня,
Вальсировала Сандрильона».
Увидь себя и усмехнись:
Какая мразь, какая низь!
Вот только ремешок на шею
Иль в мертвенную зыбь реки...
И я, монизму вопреки,
Склоняюсь веровать в Психею.
Так, вскрывши двойственность свою,
Я сам себя опережаю:
Вот плоть обдумала статью;
Вот плоть, куря, спешит к трамваю;
Вот тело делает доклад;
Вот тело спорит с оппонентом...
И – тело ли стремится в сад
К младенческим девичьим лентам?

А я какой-то номер два,
Осуществившийся едва,
Всё это вижу хладнокровно
И даже умиляюсь, словно
Имею высшие права,
Чем эти руки, голова
И взор, сверкающий неровно.
Там, косность виденья дробя,
Свежо, спокойно и умело
Живу я впереди себя,
На поводке таская тело.
Несчастное, скрипит оно,
Желает пищи и работы.
К девицам постучав в окно,
Несет учтивость и вино,
Играет гнусные фокстроты...
А между тем – мне всё равно.

Ведь знамо мне, что вовсе нет
Всех этих злых, бесстыжих, рыжих,
Партийцев, маникюрш, газет,
А есть ребяческий «тот свет»,
Где вечно мне – двенадцать лет,
Крещенский снег и бег на лыжах...

1929, Петербург

21. * * *

Вчера я умер, и меня
Старухи чинно обмывали,
Потом – толпа, и в душном зале
Блистали капельки огня.

И было очень тошно мне
Взирать на смертный мой декорум,
Внимать безмерно глупым спорам
О некой божеской стране.

И становился страшным зал
От пенья, ладана и плача...
И если б мог, я б вам сказал,
Что смерть свершается иначе...

Но мчалось солнце, шла весна,
Звенели деньги, пели люди,
И отходили от окна,
Случайно вспомнив о простуде.

Сквозь запотевшее стекло
Вбегал апрель крылатой ланью,
А в это время утекло
Мое посмертное сознание.

И друг мой надевал пальто,
И день был светел, светел, светел...

И как я перешел в ничто –
Никто, конечно, не заметил.

1929

Харьков

22. СЧАСТЬЕ

Нынче суббота, получка, шабаш.
Отдых во царствии женщин и каш.
Дрогни, гитара! Бутылка, блесни
Милой кометой в немилые дни.
Слышу: ораторы звонко орут
Что-то смешное про волю и труд.
Вижу про вред алкоголя плакат,
Вижу, как девок берут напрокат,
И осязаю кувалду свою. . .
Граждане! Мы в социальном раю!
Мне не изменит подруга моя.
Черный бандит, револьвер затая,
Ночью моим не прельстится пальто.
В кашу мою мне не плюнет никто.
Больше не будет бессмысленных трат,
Грустных поэм и минорных сонат.
Вот оно, счастье: глубоко оно,
Ровное наше счастливое дно.
Выйду-ка я, погрущу на луну,
Пару селедок потом заверну

В умную о равноправье статью,
Водки хлебну и окно разобью,
Крикну «долой!», захриплю, упаду,
Нос расшибу на классическом льду,
Всю истощу свою бедную прыть –
Чтобы хоть вечер несчастным побыть!

1929

23 * * *

Е. Р.

Молодую, беспутную гостью,
Здесь пробывшую до утра,
Я, постукивая тростью,
Провожая со двора.
Тихо пахнет свежим хлебом,
Легким снегом подернут путь,
И чухонским млечным Гебам
Усмехаюсь я чуть-чуть.
И потерянно и неловко,
Прядью щеку щекоча,
Реет девичья головка
Здесь, у правого плеча. . .
На трамвайную подножку
Возведу ее нежной рукой
И, мертвея понемножку,
Отсыпаться пойду домой.

1929, Петербург

24. * * *

Горсовет, ларек, а дальше –
Возле церкви клуб.
В церкви – бывшей генеральши
Отпевают труп.
Стынет дохлая старуха,
Ни добра, ни зла.
По рукам мертвецким муха
Тихо проползла.
А у врат большого клуба
Пара тучных дев
Тянут молодо и грубо
Площадной напев:
«Мы на лодочке катались,
Золотой мой, золотой,
Не гребли, а целовались...»
«...Со святыми упокой...»

Церкви, клуба, жизни мимо
Прохожу я днесь.
Всё легко, всё повторимо,
Всё привычно здесь.
Как же мне не умилиться,
Как же не всплакнуть,
Поглядев на эти лица
И на санный путь?
Ты прошла, о генеральша,
Ты идешь, народ –

Дальше, дальше, дальше, дальше,
Дальше, – всё пройдет.
Дан томительный клубок нам,
Да святится нить...
Но зачем же руки к окнам
Рвутся – стекла бить?

1930

Харьков

25. * * *

Звучи, осенняя вода,
Воняй, любимая руина,
Учереждайся, череда
Повествовательного чина!

Зачем мне скучная борьба,
Зачем мне звезды, винограды,
Бараны, пастыри, хлеба,
Правительственные парады –

Когда в злокозненной тиши
Разведаль старческую грань я:
Певучий умысел души
Зарылся в обморок сознания,

И близится уже отъезд
Домой, к порогам добрых отчин,

И мир вокруг – не так уж прочен,
И тени тянутся окрест.

Харьков, 1930

26. ТЕРПСИХОРЕ, ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ СТАТУЕ

Е. Р.

Как мил, как трогателен сей незабываемый
Под детской грудью слабый поясок...
Богиня-девочка, еще она испугана,
А рок ее – крушительно высок.

Но начинается пусть лирами, пусть ветрами
Томящий звук оттуда, с неба, к нам.
Но стало ясно мне, что воля к танцу смутная
Уже дана девическим ногам.

И вот задумчиво, и вот на кудри строгие
Веночек бедный возложив,
Девушка двинулась. Отсель – богиня узнана:
Лик Терпсихоры снова жив.

Всё избывается, стирается, минуется...
Но ничего уже не превозмочь,
И лишь торжественно восходит над солдатами,
Над русским эллинством и надо мною – ночь.

К архивным таинствам зачем с вечерним поездом,
Когда в умы, как зверь, молчанье залегло,
Куры и сетуя, смеясь над пассажирами,
Мы выехали в Царское Село?

Спускались сумерки, взирали на солдатчину
Бессонные глаза больших прудов:
Богиня беленькая танцевала в воздухе,
Острил сосед... О, грустный мой улов!

Всё, всё я уловил, последний в последнем,
И призыв лир вошел в чуму труда.
Прощай же, девушка, из мифа в парк пришедшая,
Из парка – в сон, из сна – как знать, куда?

Харьков, июль 1930

27. * * *

Слежу тяжелый пульс в приливах и отливах,
Ах нет, не бытия, но крови к голове;
Слежу убожество в совете нечестивых;
Слежу любовников, любящихся в траве;
Слежу автомобиль, что борзо мчит кретина
К заведованью мной и счастьем моим;
И густопсовых душ щекочет ноздри псина,
И рабских очагов глаза терзает дым...

Слежу, как я тебя тихонько разлюбляю;
Как старится лицо; как хочется вздремнуть;
Как дворник мочится, почти прильнув к сараю...
Живем мы кое-как. Живем мы как-нибудь.
Слежу, слежу, слежу, как тяжелеет тело,
Как сладко и легко прилечь и закоснеть,
Как нечто надо мной навек отяготело,
Как стал я замечать постель, одежду, снесь...

Слежу на серебре темнеющие пятна;
Слежу за сменой дней, правительств и манер...
Почто мне стала жизнь незрима и невнятна?
Почто я не делец? Почто не инженер?
И статистически сверхобъективный метод,
Всю политехнику желаний, злób и скук,
Почто я так легко могу отдать за этот
Пустой глоток вина и пьяный трепет рук?

Так я бреду сквозь вихрь меркуриевой прыти.
У бабушки-души слипаются глаза...
Дымится для меня амброзия в корыте
И сердце пылкое похоже на туза.
Но многомерности нещадным дуновеньем,
Я верю, освежусь и я когда-нибудь;
И я когда-нибудь по этим же камням
Смогу, увидев всё, невидимым мелькнуть.

1930–1931

28. * * *

Александрe Николаевне Рагозиной

Жизнь томительно пятится,
Вот и старость близка.
Ах, какая сумятица
И какая тоска!

Нет, люблю свою клеть,
Не поддамся порыву я,
Чтоб лунишку паршивую
В небесах усмотреть...

Но, кусаясь и бегая
По земным конурам,
Ваше платьице пегое
Повстречалось мне там,

У беленой стены,
Не покрытой обоями,
Где над нами обоими
Облак тайной вины.

Дионисовы лозы Вам
В невозможной весне,
В свете шатком и розовом
Вы привиделись мне

Всё над теми же самыми,
Молодая вельми,

Над словами и драмами,
Над плетьюми, над клетьюми.

Харьков, 1931

29. * * *

А. Н. Рагозиной

Как изъезжены эти пути
Бесполезны тревоги
Невкусны папиросы
Утомителен серый ландшафт
Оскорбительно солнце
Инженерного века
Кем же? Кем! Я от Вас отлучен
Но напев замирает
Просодией измучен
Вы соседка – Вы рядом – Вы здесь
Босы робкие ножки
Княжны-россиянки
Я хотел бы уехать от Вас
В танцевальные страны
В золотые Европы
Я зародыш повальной мечты
Заронил бы лукаво
В водоем надлежащий
Только нет, к Вам придут, Вас возьмут
Умыкнут, изувечат, никому не покажут

В криминальной, промозглой ночи
Хватит лиру о камень мрачный ассенизатор
На свистулке сыграют для Вас
Песнь пузатых пенатов, вожделенного быта
И друзья не придут поглядеть
На мои франтовские
Асфодели в петлице.

Харьков, 1931

30. ОТ ИОАННА

Работаю и ем. Так провожу свой день я.
И сделался душе таинственно сродни
Не этот злой галдеж, не эти наши дни,
Но леденящий смысл Патмосского виденья.

Вокруг живут мужи,
И бриты, и свежи,
И девушки спуют,
Неся цветы в уют.

Палящая жара, куплетец о свободе,
Фокстротище сие затопчет Геликон...
– Подробности письмом. Пойдемте на балкон,
И скажем что-нибудь такое в нежном роде.

Взгляните на закат:
Он розов и крылат,

Значительно алей
Подкрашенных ногтей.

Безумец Иоанн! Торчать, страшась и веря,
На острове пустом. Эпический психоз.
С друзьями я торчу среди разных всяких роз,
И развлекаю дам, отмечен знаком зверя.

Еще денек кипит,
И радио хрипит,
И нежен шелк столиц
Телам отроковиц.

Харьков, 1931

31. КИНЕМАТОГРАФ

И жизнь – она научит, жизнь,
Что надо быть сентиментальным.
А. В. Науман. Кинематограф

Антрацит оживляет любовь и мечту окрыляет хлеб.
Теплый кинематограф для юношеских потреб.
Розе, песку, булату, смородине, янтарю
Экран белесоватый от всей души подарю.
Советник дев ненасытных, я не был к тебе влеком
Смертию смерть поправшим триумфальным
большевиком.
Страсти румяных текстильщиц, эврика дурака
Плюс выезд пожарной команды да рупор издалека.

Разлуки, тореадоры, мавзолей и литейный цех...
Привыкнув, мы стали вскоре к соседкам нежны
при всех.

Когда у печки грелись левкой
И курили трубки морские волки –
Я ведал странное такое
Движенье женственной иголки:
Она из низкосортной ткани
Здесь шила мрачные штаны.
В щербатом маленьком стакане
Сияла веточка весны.
Тем временем вернулись дети,
Рассказывая про кино –
Какое чудное оно.
Блажен, кому на этом свете
Не умиралось так смешно!

Харьков, 1931

32. НА ОТЛЕТ ЛЕБЕДЕЙ

Некогда мощны, ясны и богаты,
Нынешних бойких быстрот далеки,
Негоцианты и аристократы
Строили прочные особняки.

Эллинство хаты! Содомство столицы!
Бред маскарадных негладанных встреч!

Эмансипированной теремницы
Смутно-картавая галльская речь!

Лист в Петербурге и Глинка в Мадриде,
Пушкин. Постройка железных дорог;
Но еще беса гоняют – изыди;
Но департамент геральдики строг.

После – стада волосатых студентов
И потрясателей разных стропил,
Народовольческих дивертисментов
И капитана Лебядкина пыл...

Век был – экстерн, проходимец, калека;
Но проступило на лоне веков
Тонкое детство двадцатого века:
Скрябин, Эйнштейн, Пикассо, Гумилев.

Стоило ль, чахлую вечность усвоив,
Петь Диониса у свинских корыт?
А уж курсисточки ждали героев
И «Варшавянку» пищали навзрыд.

Нынче другое: жара, пятилетка
Да городской южно-русский пейзаж:
Туберкулезной акации ветка,
Солнце над сквером... Но скука всё та ж.

Древняя скука уводит к могилам,
Кугает сердце овчиной своей.

Время проститься со звездным кормилом
Под аполлоновых лёт лебедей.

Кажется сном аполлонова стая,
Лебедям гостеприимен зенит.
Лебедь последний в зените истаял,
Дева проходя в небо глядит.

Девушка, ах! Вы глядите на тучку.
Внемлите птичке... Я вами пленен.
Провинциалочка! Милую ручку
Дайте поэту кошмарных времен.

С вами всё стало б гораздо прелестней.
Я раздобрел бы... И в старости, вдруг,
Я разразился бы песнею песней
О Суламифи российских калуг.

Июль 1931
Харьков

33. * * *

В переулок, где старцы и плуты,
Где и судьбы уже не звучат,
Где настурции, сны и уюты
Недоносков, братишек, девчат,

Навсегда ничего не изволя –
Ни настурций, ни снов, ни худоб, –

Я хожу к тебе, милая Оля,
В черном теле, во вретнице злоб.

Этот чахлый и вежливый атом –
Кифаред, о котором молва, –
Погляди пред суровым закатом,
Как трясется его голова.

Он забыл олимпийские ночи,
Подвязал себе тряпкой скулу,
Он не наш, он лишенец, он прочий,
Он в калошах на чистом полу.

Он желающий личных пособий,
Посетитель врачей и страхкасс...
Отчего ж ты в секущем ознобе
Не отводишь от мерзкого глаз?

Скоро ночь. Как гласит анероид –
Завтра дождик. Могила. Конец.
Оля будет на службе. Построит
Мощный блюминг напористый спец.

Я касался прекрасного тела,
Я сивуху глушил – между тем
Марсиасова флейта кипела
Над весной, над сушайшей из схем,

Над верховной коллизией болей,
Над моим угловым фонарем,

Надо всем, где мы с милою Олей
Петушимся, рыдаем и врем.

1932

Харьков

34. * * *

Быть может, это так и надо:
Изменится мой бранный вид
И комсомольская менада
Меня в объятя заключит.
И скажут про меня соседи:
«Он работащ, он парень свой!»
И в визге баб и в гуле меди
Я вдруг исчезну с головой.
Поверю, жалостно тупея
От чванных окончаний «изм»,
В убогую теодицею:
Безбожье, ленинизм, марксизм...
А может статья, и другое:
Привязанность ко мне храня,
Сосед гражданской рукою
Донос напишет на меня.
И, преодолевая робость,
Чуть ночь сомкнет свои края,
Ко мне придут содеять обыск
Три торопливых холуя...
От неприглядного разгрома
Посуды, книг, икон, белья,

Пойду я улицей знакомой
К порогу нового жилья
В сопровождении солдата,
Зевающего во весь рот...
И всё любимое когда-то
Сквозь память выступит, как пот.
Я вспомню маму, облик сада,
Где в древнем детстве я играл,
И молвлю, проходя в подвал:
«Быть может, это так и надо!»

1932

Харьков

35. ТАНЕЦ У СОСЕДЕЙ

Шепчут печи, грея клетки.
Прибаутки не для всех.
Снег идет. И пишут дети
Сочиненья «Первый снег».

Так, бредя тропой куриной,
Мы пленяемся порой
Недомерком Форнариной,
Вертихвосткой, шушерой.

Так во сне, или в концерте,
Оглядишься – а она
Стынет в позе ранней смерти,
Женской тайности полна.

И тогда, роняя разум,
Шаромыжничать устав,
Грусть о лице сероглазом
Вводишь в воровской устав.

Ну, а ночь – туда-сюда,
Розам – амба, стукнет сорок,
Крякнут зрелые года,
.....

И, шутя, поставишь грань им,
Вот погиблая верста...
Меркнет лампа – и лобзаньем
Обновляются уста.

Декабрь. 1933

36. * * *

Отъезд, вино... знакомцы и знакомицы,
Иной на страсть, иной на водку падок...
И бурный пурпур вновь во взоры ломится
Блестящими параболами радуг.

Здесь из перста высасывали деньги,
Здесь вместе жили, вместе чушь пороли
Поэты, выпивохи, неврастеники,
Не Казановы и не Ривароли...
.....

Пора, пора! Инерции уменьшены,
И , и родственники живы.

А жить бы мне житухой шуругою,
И быт пригож, речист, уютно грязен...
Я плавал бы на лодочке с подругою –
Заносчивый, провинциальный Разин.

И если небо в звездочку оклеено,
И воет вечность, зрелая гитара,
За совершенство древнее Лигеино, –
Ах! Пожалейте бедного Эдгара!

И если шесть печатей мне дозволено –
Я пред тобой, как пред седьмой печатью...
Свой смертный саван видишь, Ленский? Олино
Среди куртин белеющее платье?

Не брезгуй же, Киприда, нашей свалкою,
Таскайся по засаленным палатам!
Мы за тебя, за глупую, за жалкую,
За низкую, высокой жизнью платим...

Харьков, 1933–1934

37. * * *

Совсем не хочу умирать я,
Я не был еще влюблен,

Мне лишь снилось рыжее платье,
Не расцениваемое рублем.

Сдвинь жестянки нелегкой жизни,
Заглуши эту глушь и темь
И живую водою брызни
На оплакиваемую тень.

В золотое входим жильё мы
В нашем платье родном и плохом.
Флирты, вызовы и котильоны
Покрывал расписной плафон.

Белоснежное покрывало
Покрывало вдовы грехи,
И зверье в лесах горевало
И сынки хватали верхи.

Мрак людских, конюшен и псарен.
Кавалер орденов, генерал,
Склеротический гневный барин
Здесь седьмые шкуры дирал.

Вихри дам, голос денег тонкий,
Златоплечее офицерье,
И, его прямые потомки,
Получили мы бытие.

И в садах двадцать первого века,
Где не будут сорить, штрафовать,

Отдохнувшего человека
Опечалит моя тетрадь.

Снова варварское смятенье...
И, задев его за рукав,
Я пройду театральной тенью,
Плоской тенью с дудкой в руках.

Ах, дуда моя, веселуха,
Помоги мне спросить его:
Разве мы выбираем брюхо
Для зачатия своего?

1936–1937

38. * * *

С. П. Версоблюку

Город блуждающих душ, кладезь напрасных снов.
Встречи на островах и у пяти углов.
Неточка ли Незванова у кружевных перил,
Дом ли отделан заново, камень ли заговорил.
Умер монарх. Предан земле Монферран.
Трудно идут года и оседает храм.
Сон Фальконета – всадник, конь и лукавый змий,
Добела раскаленный в недрах неврастений.
Дует ветер от взморья, спят маньчжурские львы,
Юноши отцветают на берегах Невы.

О непрочные сны! На базаре им
Так легко замелькать по рукам!
Посмотри и уверься воочию
В запоздалости каждого сна:
Вот доярки, поэты, рабочие –
Ордена, ордена, ордена...
Мне же снится прелестной Гишпании
Очумелый и сладкий галдеж,
Где и ныне по данному ранее
Обещанию ты меня ждешь...
И мы входим в каморку невольничью,
В эскурьял отстрадавших сердец,
Где у входа безлунною полночью
Твой гранитный грохочет отец.

1937

Керчь

40. * * *

Скучновато слушать, сидя дома,
За мушиной суетой следя,
Тарантас полуденного грома,
Тарантеллу летнего дождя.

Грянула по радио столица,
После дыни заболел живот,
Перикола бедности боится,
Но пока еще со мной живет.

Торжища гудят низкопоклонно,
Мрак штанов, сияние рубах;
Словно кривоустая Мадонна,
Нищенка с ребенком на руках.

Шум судеб, серьезность пустолаек,
И коровье шествие во хлев...
Меркнет день, и душу усыпляет
Пот и пудра овцеоких дев.

Спят, полны слепого трудолюбья,
В разных колыбелях малыши...
Под необъяснимой звездной глубиью
Стелется блаженный храп души.

Спит душа, похрапывая свято –
Ей такого не дарило сна
Сказочное пойло Арарата,
Вероломство старого вина.

Спи, душа, забудь, во мрак влекома,
Вслед Вергилию бредя,
Тарантас заброшенного грома,
Тарантеллу кроткого дождя.

1938

Керчь

41. * * *

На твоей картине, природа,
На морском пейзаже твоём
Нарисован дымок парохода,
Желтый берег и белый дом.

В белом доме живет Анята,
На борту парохода матрос.
Устарелый кораблик – кому-то
Он счастливую встречу принес.

В ресторане, в говоре пьяном,
В палисаднике и в кино –
Назревает свадьба с баяном,
Гименей стучится в окно...

Будем нюхать свежую розу,
Будем есть вековечный хлеб,
Продлевая дивную прозу
Устройства земных судеб.

Ты мне скажешь – дождик захлюпал.
Я отвечу – мир не таков:
Это вечности легкий скрупул
Распылился ливнем веков.

И немислимо в полной мере
Разглядеть мелюзгу бытия,

Округляясь в насиженной сфере,
В круглой капле, где ты – не я.

Где по сумеркам трюмов порожних,
По сияньям домашних ламп
Разместил неизвестный художник
Устрашающий свой талант.

1938–1939

Керчь

42. * * *

На блюда́х почивают пирожные,
Золотятся копченые рыбы.
Совершали бы мы невозможное,
Посещали большие пиры бы. . .

Оссианова арфа ли, юмор ли
Добродушного сытого чрева,
Всё равно – мы родились, вы умерли,
Кто направо пошел, кто налево.

Хоть искали иную обитель мы,
Всё же вынули мы ненароком
Жребий зваться страной удивительной,
Чаадаева злобным уроком.

Но на детские наши речения,
Что акупают, не унывая,
Узаконенной наглости гения
Упадает печать огневая.

Мы с картонного сходим кораблика
Прямо в школу, и зубрим, и просим,
Чтоб кисллкой эдемского яблока
Отдавала дежурная осень.

Чтобы снились нам джунгли и звери там
С исступленьем во взорах сторожких. . .
И к наглядным посредственным скверикам
Сходит вечность на тоненьких ножках.

1936-1937

43. * * *

Вселенную я не облаплю –
Как ни грусти, как ни шути,
Я заключен в глухую каплю,
В другую каплю – нет пути.

1938-1939

44. * * *

Сталиану Павловичу Версоблюку

Был оглушительен и едок
День расточительств, день труда.
Но вот – над руганью соседок
Взошла вечерняя звезда.

И лапы скуки всё короче,
И проступают всё живей
Нерусские, немые очи
Над полукружьями бровей.

Они смогли когда-то, где-то,
Не то грустя, не то любя,
В привычной вечности поэта
Невольню отразить себя.

Ах, ей ли было счастья мало,
Когда она, влетясь в ряды
Подруг – себя именовала
Гортанным именем звезды!

А щедрый данник вечной темы
Не от ее ль зажег лучей
Кровь дикой песни, кровь Заремы,
Кровь современницы своей?

Керчь, 1939

45. * * *

В балетной студии, где пахнет как в предбаннике,
Где слишком много света и тепла,
Где вьются незнакомые ботанике
Живых цветов громадные тела,

Где много раз не в шутку опозорены,
Но всё ж на диво нам сохранены,
Еще блистают ножки Терпсихорины
И на колетах блещут галуны;

Где стынет рукописная Коппелия,
Где грязное на пультах полотно,
Где кажется вершиной виноделия
Бесхитростное хлебное вино,

Где стойко плачут демоны ли, струны ли,
Где больше нет ни счастья, ни тоски,
Где что-то нам нездешнее подсунули,
Где всё не так, где всё не по-людски, –

В балетной студии, где дети перехваленны,
Где постоянно не хватает слов –
Твоих ногтей банальные миндалины
Я за иное принимать готов.

И трудно шевелиться в гуще воздуха,
И ведьмы не скрывают ржавых косм,

И всё живет без паузы, без роздыха
Безвыходный, бессрочный микрокосм.

1939

46. * * *

Осень, некуда кинуться нам со всех ног.
Нет для нас подходящего сада.
Нет теплицы, где вырос бы желчный цветок –
Ботанической ереси чадо.

Осень. Звонко горланят по школьным дворам
Красноносые дошлые дети.
По квартирам не счесть оглушительных драм:
Здесь Монтекки, а там Капулетти.

Осень. Время призыва, отправки в войска,
Время поисков топлива, время
Желтизны у листвы, седины у виска
И презрительной дружбы со всеми.

О душа, недотрога, возьми свой лорнет,
Запотевшее стеклышко вытри.
Видишь краски, которых подобия нет
На бессмертной фабричной палитре.

Серый полдень, сугубая плотность дождей,
Населенье в блестящих калошах,

Море выглядит Мафусаила седей,
Просит песен, но только хороших.

В эти дни я пленяюсь своей правотой
Заурядной, бессовестной, гиблой,
Триумфальной, заветно-блистающей, той,
Что скрепляет незыблемость библий.

1940

Керчь

47. ТАНЕЦ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЙ ДЕВУШКИ

«Когда я был аркадским принцем»,
Когда я был таким-сяким,
И детским розовым гостинцем
Казалась страсть рукам моим,

Зашел я как-то выпить пива
В один неважный ресторан.
Носились официанты живо,
Качался джаз, потел стакан.

Сгибались склеенные пары,
Вперед вдвоем, назад вдвоем.
Как отдаленные гитары,
Звенели мысли ни о чем.

И стоит ли тому дивиться,
Что в томном танце надо мной
Одна румяная девица
Сверкнула голою спиной...

Так сладко стало мне и больно,
Что я, забыв свое питье,
Благоговейно, богомольно
Взглянул на рожицу ее.

Курносая, в прекрасном платье,
Вся помесь стервы с божеством...
О, как хотелось мне сказать ей:
– Укрась собой мой скучный дом,

Развесели меня скандалом
Со злой соседкой у плиты,
Дабы не завелись мечты
В житишке каверзном и малом...

И губки лживые твои
Целуя тысячу раз кряду,
Здесь в мимолетном бытии
Я затанцуюсь до упаду.

1940

48. ТАНЕЦ БАБОЧКИ

Кончен день. Котлеты скушаны.
Скучный вечер при дверях.
Что мне песенки Марфушины,
Ногти дам, штаны нерях?

Старый клуб отделан заново –
На концерт бы заглянуть –
Выйдет Галочка Степанова
И станцует что-нибудь.

Дева скачет, гнется ивою,
Врет рояль – басы не те.
Человечество шутовское
Крупно шутит в темноте.

И на мерзость мерзость нижеется,
И троится мутный ком,
И отверженная ижица
Лезет в азбуку силком.

Но я верю, что не все мы
Терпим боль и борем страх –
Мотылек неописуемый
В сине-розовых лучах.

Чучело седого филина
Не пугается обид,

Но, булавкою пришпилена,
Бабочка еще дрожит...

Что ж, кончай развоплощение,
Костюмерше крылья сдай.
Это смерть, но, тем не менее,
Все-таки дорога в рай.

Выходи в дорогу дальнюю,
Вечер шумен и игрист,
На площадку танцевальную,
Где играет баянист.

1940

49. ТАНЕЦ ДУШИ

А. Р.

В белых снежинках метелицы, в инее
Падающем, воротник пороша,
Став после смерти безвестной святынею,
Гибко и скромно танцует душа.

Не корифейкой, не гордою прямою
В милом балете родимой зимы –
Веет душа дебютанткой незримою,
Райским придатком земной кутерьмы.

Ей, принесенной декабрьскою тучею,
В этом бесплодном немом бытии
Припоминаются разные случаи –
Трудно забыть похождения свои.

Всё – как женилась, шутила и плакала,
Злилась, старела, любила детей, –
Бред, лепетанье плохого оракула,
Быта похабней и неба пустей. . .

Что перед этой случайной могилою
Ласки, беседы, победы, пиры.
Крепкое Нечто с нездешнею силою
Стукнуло, кинуло в тартарары.

В белом сугробе сияет расселина
И не припомнить ей скучную быль –
То ли была она где-то расстреляна,
То ли попала под автомобиль.

Надо ль ей было казаться столь тонкою,
К девам неверным спешить под луной,
Чтоб залететь ординарной душонкою
В кордебалет завирухи ночной.

Нет, и посмертной надежды не брошу я,
Будет Маруся идти из кино –
Мне вместе с предновогодней порошею
В очи ее залететь суждено.

1 января 1941

50. ТАНЕЦ МЕДВЕДЯ

А. Г.

Перьям и белым страницам, кистям и просторным
полотнам,

Нет, не завидую я, хоть участь свою и кляню.

В мире животных я стал неизящным животным.

Бурым медведем сижусь я в дурацком плену.

В старом Париже я был театральным танцором.

Жил небогато, был набожен, сыт и одет. . .

Склокам актерским конец. . . Конец оркестровым

раздорам –

Хитрый Люлли сочинил королевский балет.

Я танцевал в эти годы красиво и ловко,

Был на виду у придворных скучающих дам.

Ты мне была несравненной партнершей,

чертовка,

Я и теперь тебе сердце медвежье отдам.

Помню я всё: как тебя увозили в карете,

В белой карете с опасным и громким гербом.

Помню, как ты возвратилась ко мне на рассвете. . .

Но почему-то не помню, что было потом.

Ты ли меня беззаветным враньем утомила,

Сердце ль мое разорвалось от горя любви. . .

Прутьями клетки моя обернулась могила,

Силы бессмертные мне повелели – живи!

Смотрят меня пионеры, студенты, зеваки,
Мужние жены мне черствые булки суют,
Натуралисты вторгаются паки и паки
В зоологический мой безлюбовный приют.

Изредка только под модной ужимкою шляпы,
Мнится, узнал я сиянье трагических глаз,
И поднимаюсь тогда я на задние лапы,
И начинаю забавный и жалобный пляс.

1941

51. ВАЛЬС ГРИБОЕДОВА

А. Р.

Карету мне! Карету!

Завтра вечером в восемь часов
Заверну я к тебе попрощаться.
Ясен ум. Чемодан мой готов,
Завтра я уезжаю, как Чацкий.

Будет поезд греметь и качаться –
Подвижной, неустойчивый кров.
Что сказать? Молви мне: «Будь здоров!»
Завтра я уезжаю, как Чацкий.

Кем я стану во мнении дам,
В завидущих глазах старушонок?

Не к лицу мне идти по следам
Душ кривых и сердец уstraшенных.

Вот твой голос – он полон и звонок,
Вот твой облик, присущий пирам,
Говорливому множеству драм
Душ кривых и сердец уstraшенных.

Ну, а я от живой мелюзги,
От приморского скучного сада,
От сердец, где не видно ни зги,
От тоски сведенборгова ада
Уезжаю – и плакать не надо.

В ресторанчике зарево вин,
Ходят воры и врут златоусты.
Я гулял и заметил один
Уголок оскорбленному чувству.

Шел снежок, не спеша и не густо...
Елки в святости зимних седин...
И трудящийся рыл гражданин
Уголок оскорбленному чувству.

Но до этого мне далеко...
От любви умирают не часто.
Балерина в телесном трико
Даст мне ручку белей алебастра.

Даст мне нежную ручку – и баста!..
Предрассветных небес молоко,
Дальний вальс утихает легко...
От любви умирают не часто.

1941

52. НИЧТО

Ничто... Пусть пролегло оно
Для любопытства грозной гранью...
Пусть бытие его темно
И заповедано сознанию.
Истлел герой – возрос лопух.
Смерть каждой плоти плодотворна.
И ливни, оживляя зерна,
Проходят по следам засух.

1941

Керчь

53. * * *

Или око хочет кои веки
Не взирать на мрачные харчи,
Или Гитлер жжет библиотеки,
Или кот мурлычет на печи,

Или телу розовых царапин
Надобно. Какая чепуха.
Или снова голосит Шаляпин
«Жил-был король
И у него жила блоха...»
Нет, гряди в смиренную обитель,
В новый быт медвежьего угла,
Средних лет делопроизводитель,
И начни производить дела.
Средних лет, подержанный и близкий,
Днесь навеки ты любезен мне
Ловким слогом дельной переписки,
Верностью пенатам и жене.

54. * * *

О, молодость моя невозвратимая!
Невозвратима или невозвратна?
Нет, прежде чем рыдать, я руки вымою,
Чернильные смывая с пальцев пятна...

Из комнаты я выжну парфюмерию
И окись поцелуев из подушек,
Свою наличность взвешу и измеряю...
Но как скупца она меня задушит,

Она меня приспит, как мать младенчика,
Убьет заторможенным избытком.

Я не спасусь ни дачею бревенчатой,
Ни ваннами, ни молоком кобыльим.

Она меня сведет к сухому пению,
К запутанным и некрасивым невмам...
Как будто бы повержен на колени я
В богослуженье горестном и гневном.

Печаль отцов, молва ученых чижиков,
В кровавую кошелку полезай-ка.
Близь шашлыков, среди лимонов выжатых
Раскрыт «Подарок молодым хозяйкам».

Июль 1941

55. МОЛИТВА О ДИКОСТИ

От болот с огненосными торфами
Отлетит ночь.
Ужаснет исступленными арфами
Жителей дач.

На железобетонные нужники
Наляжет ночь.
И похабные тощие бражники
Воспляшут вскачь.

Ты меня византийскими ризами
Коснешься, ночь,

Старой девы над чахлыми розами
Раздастся плач.

И, чреватая блудом и кражами,
Иссякнет ночь.
И возблещет над свежими рожами
Рассвет удач.

Но кто неспавший выйдет на рассвете,
Перегорев от страсти, от водки или просто так
перегорев,
Тот может вдруг отвергнуть штуки эти –
Веселые трамваи,
Гудки заводов,
Каблучки деловитых дев.

Тот не поймет – чему же тело радо?
Буддийской ломоте в костях –
Предвещию священных льгот?
Вдруг прянет пьяный бред – Голконда, Эльдorado,
Но ничему не удивится тот.

Придя домой,
Он ляжет на диван и молвит: «Да уйдите ж,
Досадные коты и человеки! Я хочу спать...»
И, погружаясь в сон, в холодный чистый Китеж,
Еще не захлебнувшись, помолится так:

(дальнейший текст утрачен)

56. * * *

Где над людской помойкой в гуле,
Звуча, присутствовали пули,
Зачем мне было иго баб,
Зачем я был смешон и слаб,
Зачем казались мне легки
Стихи, чулки и коньяки?
Страстной Четверг, страстной Четверг!
Ты улыбнулся и померк,
И я тебя опять отверг..
Но вдруг заметил я, как мало
Осталось юности в сердцах,
А только лишь смешно и ало
Флажки танцуют на домах.
Да, жизнь назвали новым бытом,
Корыто стало вновь разбитым,
И я заплакал над корытом...

.....
Страстной Четверг. Кого проклясть
В сем ... и постыдном хоре,
Где иллюстрируется страсть
Рисуночками на заборе?
Был дом и был Страстной Четверг,
И это всё я вдруг отверг.
Как зачарованный Эдил,
Я переулками бродил,
Я в диких звездах ночевал,
И снился мне за балом бал,

За валом вал,
За лалом лал.
Как были некогда милы
Детей безгрешные балы,
Как были некогда светлы
В Крыму прибрежные валы,
Как горько губы охлаждал,
А сам мечтательно пылал
В кольце девичьем подлый лал...
Я свой разыгрывал финал,
Я ноги женщин заклинал,
Страдал – и отойти не мог
От незаклятых женских ног.
И губы, жёсток и жесток,
Терзал трагический чулок,
И было всё – коньяк и ночь.
А этому нельзя помочь...
О, где ты, всероссийский морг,
Где трупный теплился восторг?
Вдали, как маленький орешек,
Парит земля, на ней весна,
И бродят табуны усмешек
И вольной грусти племена.
А над предместьями тумана,
Над приголосою тихих птах
Всё ж не разгневанно, но рьяно
Скорбит Царевна-Несмеяна,
Храня сапфиры на перстах...

ПОЭМЫ

57. НИЧТО

Был дом и был Страстной Четверг.
В. Щ.

Разве я плачу о тех, кто умер?
Плачу о тех, кому долго жить.
М. Волошин. Бойня

Посвящается Е. Н. Щировской

I

Вблизи лесов и нив у ветреной речонки,
Средь сада нежного стоял прекрасный дом,
Бессчетно много раз лучился месяц тонкий
И годы двигались пристойным чередом.

Дыханьем бережным приветной Мнемозины,
Для старческой души целительным теплом
Здесь согревалось всё – и книги и картины,
Все вещи вещие, все комнаты... Весь дом.

И дома милого касался ветер вьюги,
И трубы посещал, и вопиял в ночи,

И к окнам припадал, поспешный и упругий,
И демонов являл при темноте свечи.

И дома милого вокруг гостило лето,
И дому милому свежо цвели цветы...
Я много раз тебе рассказывал про это
И, может быть, теперь уже зеваешь ты.

Тот дом во мне живет, как роковая завязь
Всех склонностей моих, любовей и красот,
У Пасхи розовой тихонько окроваваясь,
Закатом мартовским тот дом во мне живет.

О время! Fin de siècle! Упадочные моды!
Единый Божий жест – и вдунута душа;
И юноша-студент берет дары свободы,
Лукавя старикам и милых дам смеша.

Ему слуга несет всё счастье тонкой пищи;
Он напивается, он весело блудит;
В запретные часы по ресторанам рыщет;
Сквозь умное пенсне в нездешнее глядит.

В театре бархат лож, прияв персону франта,
Покоит барский зад и тешит взор, когда
Свет ramпы падает на ножки фигуранток
И шепчет Купидон: – Глядите, господа...

Так младость протекла, успешно и банально.
И начались труды, чины и ордена...

И может быть, он знал, что это всё печально,
По крайней мере, он не разлюбил вина.

Но опыт на висках рисунками склероза
Многозначительно и грустно проступил.
Что ножки и чины, что алгебра и роза,
Когда приходят дни иссякновенья сил?

Люблю его таким: учтив, насмешлив, мрачен.
История же прет, томами громоздась, –
Вот губернатором куда-то он назначен...
Вкруг – агитаторы, свободолюбцы, мразь...

В аспекте вечности – вся жизнь не стоит гнева,
А все-таки я злюсь и все-таки тоска.
Как скучно допустить, что испражнялась Ева!
Для скуки этакой и вечность коротка.

И стал он стариком. Устал, ушел в отставку,
Женился в старости и породил меня.
Бог нового в игрушечную лавку
Ввел покупателя, пленяя и дразня.

А мой отец тогда, надев косоворотку,
Нашел себе игру в работе столяра.
Он сотворил мне меч, и арбалет, и лодку,
Он сотворил мне всё, к чему звала игра.

Таков был мой отец, а мать была иная,
Неведомая мне, и что о ней сказать,

Свежо любя ее, я до сих пор не знаю:
Неясная досель не прояснилась мать.

Я в детстве прочитал стихи из отчей книги:
«Есть упоение, – гласят они, – в бою».
С тех детских пор их смысл я набожно таю –
Предчувствия чумы незримые вериги.

Рожденные со мной, в один и тот же год,
Вы, сверстники мои, младенчики чумные,
Хромающие здесь на попреще свобод,
Танцующие здесь под мутным взором змия, –

Ничто вас не спасет, издохнете и вы,
Как издыхаю я – бесславно и вонюче.
О, как прекрасна смерть червя или травы,
Свободного цветка или звезды падуцей!

Я в детстве был любим. Лелеяли меня.
Лилями меня моя река встречала.
Шептали: «Баловник... Ему деньского дня
Для баловства его как будто бы уж мало...»

Я прочно был внедрен в мои молодые дни.
Куда как сладок был деньской полон дитяти.
А ночью ангел жил за пологом кровати.
Он был как девочка, и прятался в тени.

Позднее я узнал могущество рояля.
Я в звук ушел, как в грех – ликуя и страшась.

Но звук был зол: он влек, восторжностью печалая
И горней чистотой затапывая в грязь.

Так до сих пор меня еще гнетет Бетховен,
Мне ясный ближе Бах. Я полюбил Рамо.
Я внемлю и смеюсь: мир скучен и греховен,
Но в звуках «Coeur de Lion» отсутствует дерьмо.

Дни революции я встретил с красным флагом
Семи лет от роду. Младшенек и глуп.
Семейственным своим тогда ареопагом
Быв горько выруган, я скромно плакал в суп.

Почто над сумраком летал кровавый петел,
Что старшим виделось поверх юродств и бед,
К чему в младенчестве я смерть свою приветил
Кровавой тряпкою? Откуда мне ответ?

Кто умер, кто убит, кого обворовали,
Кто сам стал убивать, кто сам обворовал...
Ну, во все тяжкие! Империя в развале,
Сыны империи приветствуют развал.

Пошел здесь свальный грех. Созвали учредилку,
Пошли смердеть, кричать, насиловать сестер...
В золотые эти дни я жил легко и пылко,
Как будто бы глаза для гибели протер.

Так строилась душа. Тифозными мечтами
Был свергнут Андерсен. Скончался мой отец.

Я стал читать Дюма. И пронеслась над нами
Румяная чума. И на крутое пламя
Людишки глянули зеницами овец.

А после всё прошло, утихло понемножку.
Торговкой стала мать. Я в школу стал ходить.
Жизнь пригласила: жри. Воткнула в руки ложку.
У современников поисплясалась прыть.

II

Я отрок, школьник и поэт,
Я декадент и эрудит,
Свинцовый привкус прошлых лет
Младые губы холодит.

В советской школе тех времен
Цвели свобода и сумбур.
В одну из краснощеких дур
Я, отрок, был тогда влюблен.

Как датский принц я мрачен был.
Она была вельми курноса.
Ломился в вечность первый пыл,
Носился сердцем без износа.

О, Ксения, я умерщвлен:
Тебя целуют инженеры...

О, козлогласие племен
В отсутствие царя и веры!

О, Ксения, я горько сплю.
Тебя употребляют мрази...
О, вы, покорные рублю
Исчадья здешних безобразий.

А ты, от отроческих лет
Мой нежный друг, мой тихий Саша?
Тебе ли нашей муки чаша?
Не может быть, не верю, нет.

Ужели в ДОПРе ты сидишь,
Питая вшей и греясь чаем,
И изучаешь горний шиш,
Который все мы изучаем?

А помнишь, милый, помнишь те
Академические бреды?
О суете и красоте
Многоглагольные беседы?

Царит ли снег, течет ли грязь,
Блестят ли под дождем камня, –
Поплевывая и вьясь,
Спешит белесое виденье.

Он входит, он вошел... и вот
Учтивости немая сцена:

Вдруг поникает на живот
Чело поэта и джентльмена.

Люблю тебя, люблю в тебе
Сомученика и собрата,
Противоставшего судьбе
Мечтателя и элеата...

.....

Я помню младость. Помню: младость
Пьянила... Пушкина прочтя,
Промолвило: «Какая гадость»
Сумасходящее дитя.

И мукой сладостных укусов
Пытал неясное мое
Младенческое бытие
В те времена Валерий Брюсов.

«О далекое утро на вспененном взморье,
Странно-алые краски стыдливой зари.
И весенние звуки в серебряном сердце,
И твой сказочно-ласковый образ, Мари».

В. Брюсов

И вот, за первую любовь
Я первой страстью согрешил...
Я помню грацию коровью
И простодушный скотский пыл

Моей возлюбленной... Впервые –
А было мне пятнадцать лет –
Я, дюжую объемля выю,
Подумал: Беатриче нет

И быть не может. И отлично:
Нет Бога в мире, аз есмь зверь.
Всё радостно и неприлично
И всё дозволено теперь.

В те годы появилась водка,
Икра, говядина и нэп...
До времени поникла плетка,
Был мир противен и нелеп,

Как паралитик исцеленный,
С трудом учащийся ходьбе.
А опыт зверский, злобный, сонный
Я до сих пор сберег в себе.

Глядело солнце в школьный класс.
Цвела советская Минерва.
И тяжело допекали нас
Соцэк – болван, и немка – стерва.

На снег, на лужи, на навоз
Вдруг упали стаи галок,
Вдруг замечалось: пара кос,
Тетрадки и пучок фиалок.

Банально это. Вскую тя
Аз созерцаю, мире, мире!
Живу едя, грустя, шутя
В такой нешуточной квартире...

Конечно, я окончил школу
И, лица женщин возлюбя,
Их пошлости и произволу
Лирически вручил себя...

Зимою акварельный иней
Сиял на бледных небесах...
Не надо пьянствовать с богиней!
О, людие, цените прах!

Я пил, влюблялся, голодал.
Всё было глупо, нежно, мило.
Лиясь в какой-нибудь бокал,
Вино алело и пьянило.

И жизнь мечтательно текла
В холодном пафосе развала,
И мне для нежности совала
Несовершенные тела.

Но я не сразу, я не вдруг
Взглянул на всё глазами скуки,
И смерти еле слышный звук
Услышал в каждом здешнем звуке.

Внезапен только перевал
Через хребет алчбы и торга,
Внезапен только крик восторга,
Которым я судьбу воззвал:

Пусть мне приснятся сны дневные,
Чтоб песни нежить и нести,
Пусть песни нежные и хищные
Слетят на подоконник вечности.

III

Лелеет тело вешнюю истому,
Отверсто солнцу узкое окно.
Я возвращен ничтожеству земному,
Я жив, я сыт, я облачен в сукно.

О, пошлость, ты – прекрасней всех красот.
Твои в веках бессмертны барабаны.
Ты – женщины беременной живот,
Тягучий вой отказа от Нирваны.

Кухарочкой ты видишься в окне,
Ты девкам сочиняешь туалеты,
В тебе живут блондины и брюнеты.
Всесильная, ты быть велишь луне.

Визжишь, горланишь на парадах мая,
Для Господа в кармане держишь шиш.

Бессмысленно моим стихам внимая,
«Как это поэтично» говоришь.

Итак – я жив. Чирикаю, как птица,
Поклевываю снедь. Живу! Живу!
И может быть, могу еще влюбиться,
Порхнув, хе-хе, в живую синеву,

Вообще туда, куда-нибудь к пределам.
Приобрету веселость и размах...
Всё растворится в розовом и белом,
В хрестоматийных девственных тонах...

[IV]

Бродит в ДОПРе мутный сон,
Часовой идет.
Тяжек глупый наш полон,
Скучен хлад и гнет.

Всё одно и то ж:
Закричит сосед во сне,
Не спеша по стене
Проползет вошь.

Но душа, живет она,
Неких свежих влаг
Предвкушением полна,

Уловляет, ясна,
Дальний лай собак...

Где застрял мой добрый сон,
Истошил свой хмель?
Почему замедлил он,
Мой тюремный Лель?

Жду – когда ж с вышины
Вопль нездешних труб?
Я забыл лицо жены.
Я один. Я труп.

....

Но нет, живу. Дробится мир в зеницах,
Девятый вал пророчит мне авто.
В солдатиках и в девах круглолицых
Мне чудится буддийское Ничто.

Мой друг, мой друг! Ты видишь, я старею.
Я озверел и смерть страшит меня:
Вот я встаю – и мир мне вяжет шею
Безумной, позлащенной петлей дня.

Вот я иду, от пошлости, как в детстве,
Бессмертным идиотством упасен;
Вот в мятеже привычных соответствий
Я нежный отдых нахожу и сон.

Ты утомлен, холодный Вседержитель,
Аристократ, не ценишь ты потерь:
На блюде золотом, в свином корыте ль,
Но всё равно, понятно мне теперь.

Я предан был на завтрак сатанинский,
Мои останки – ведьмам на обед...
...Ты Гамлет! Ты Евгений Баратынский!
О, где вы, «розы Леля?» Nihil. Бред.

Харьков, 1931 (?)

58. БЕС

1

В рощах, где растет земляника,
По ночам отдыхают тощие бесы,
Придорожные бесы моей страны.
Бесам свойственно горние вздоры молоть,
И осеннего злата драгую щепоть
Бес, прелестной березы из-за,
Агроному прохожему мечет в глаза.

Несусветица, лай отдаленного пса,
Балалайка ночная, песенка ль девья...
Вырубают молодые леса,
Тяжело упадают деревья...

Но, влюблен наповал,
Иногда воплощается бес.
Вот он, с рожками, через забор перелез...
И, кудрявый конторщик, он числит посевы...
Щеголь бес – полосатая майка,
И конторщикова балалайка,
Под умелую пястью дрожа,
Дребезжит, холодна и свежа,
Уговаривает звонко,
Научает познанию добра и зла...
Согрешившая скотница,
Произведя ребенка,
Нарицает его Револют Иванович...
А конторщик берет
В колхозе расчет
И в бесовской Москве
Находит поприще и необходимый уют.

2

Матросская Тишина, Сивцев Вражек, Плющиха,
Балчуг,
Живут себе люди тихо,
Вожделеют, жаждут и алчут.
Здесь во вшивом своем плодородии,
В хохотке уголовной грусти
Проживают мрачно плазмодии
И порхают веселые тьфусти.

Научившись тачать сапоги,
В переулке живет генерал.
Персть и твердь он старчески ценит
И, будучи вкладчиком сберегательной кассы
И членом объединения кустарей,
Он читает мемуары Палеолога,
Записки Шульгина и письма Гаврилы Державина.

Гордостью тьмутараканских времен
И генуэзскими мраками взоров
Дочь генерала одарена.
Милую школьницу учит весна...
Ах, московские вешние дни,
Внемлешь – легкие крылья захлопали,
Это голуби, это они
Облетают высокие тополи.
Детское солнце за крыши закатится,
Настанет ночь...
А по ночам, в рощах, где растет земляника,
Отдыхают тощие бесы,
Придорожные бесы моей страны.

3

Румяный бес легко процвел в Москве
Полувоенный френч, рейтузы, краги
И английский картуз на голове...
(Одни лесные боги ходят наги.)

Он посещал ряды библиотек,
Милый и стройный молодой человек,
Он приобрел некоторую начитанность.
Я не знаю точно, как он попал
К старичку генералу,
Но вот он входит в мирный мир
Наследника варяжских древних кровей,
С поклоном представляется «Иванов»
И добавляет: «entre vous, я князь Барятинский».
Князь сдружился с маститым сапожником,
Приводил заказчиков, доставал иностранные
журналы
И к вечернему чаю бывал...

Иногда князь ходил на Лубянку
В то самое учреждение,
Которое все отлично знают...

И легко и надменно смеясь,
Царь-Девушка и Пламенный Князь,
По московским прогуливаясь улицам,
Заходят в кондитерский трест,
Телекис выбирает пирожное,
Алкиноя женственно ест...

4

Как-то ночью дрогнул звонок,
Царь-Девушка открыла дверь...

Испугалась, метнулась... Пред ней
Кацап, латыш, еврей...
Покинув теплый подвал,
Заспанный дворник зевал...
По углам порылись в пыли
И отца с собой увели...

5

С тех пор прошло немало времени,
Ходили дожди и трамваи
И всё шло к лучшему
В этом лучшем из миров.

В комнате чистой и жалкой – полумрак.
Бес, конторщик, а ныне князь,
Полузакрыв ужасные очи
И пленительно медля в словах, говорит о любви:
«Гунивера, я твой Ланселот,
О, Франческа, с тобою печальный Паоло...»
И тогда, задрожав, окрылясь,
Протянуло ручку дитя
И коснулось синего френча...

Лопнул бес.
Преисподним рассыпался прахом,
Только желтые краги
Остались на нищем полу.

В эту ночь расстреляли старичка генерала...
А в дальней деревне чернеет изба,
В ней ветхую люльку качает судьба,
В люльке лежит,
Насосавшись на ночь
Скотницыным материнским молоком,
Со своими дядьями по отцу незнаком,
Сын беса – Револют Иваныч...

1935

Харьков

ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ (1909–1941). БИОГРАФИЯ

Владимир Евгеньевич Щировский был, может быть, последним из плеяды русских писателей, выросших в дворянской усадьбе:

Вблизи лесов и нив у ветреной речонки,
Средь сада нежного стоял прекрасный дом...
Тот дом во мне живет, как роковая завязь
Всех склонностей моих...

Родился Щировский в Москве летом (июль?) 1909 г., но рос в усадьбе под Харьковом.

Родоначальником фамилии считался запорожский казак Савка Щирый, от которого пошел их род. Отец Владимира, женившийся уже далеко не молодым, был сенатором в отставке. Он очень любил и баловал своего единственного сына. Других детей у них не было.

Я в детстве был любим. Лелеяли меня.
Лилеями меня моя река встречала.

Мальчика стали рано учить музыке, и он

узнал могущество рояля.
Я в звук ушел, как в грех – ликуя и страшась.

И неразрывные между собой музыка и поэзия навсегда завладели им.

Время шло. Он поступил в первый класс Харьковской мужской гимназии. Затем началась революция, гимназию

закрыли. «И пронеслась над нами гражданская война». Отец умер.

А после всё прошло, утихло понемножку.
Торговкой стала мать. Я в школу стал ходить.

Одновременно со школой В.Е. учился в музыкальном училище. В школе он подружился с Ал. Вл. Науманом, их объединяла любовь к стихам, к размышлениям «о красоте и суете». Эта дружба сохранялась до гибели обоих.

После окончания семилетки Щиrowsкий уехал в Ленинград и поступил на «Ямфак» – факультет языко-материальных культур. Вскоре умерла его мать и материально ему было очень трудно:

Дрова сгорели. Денег нет.
И Музе говорит Поэт:
Мне холодно, моя квартира
Меня страшит, во мгле застыв... –

пишет он в эти годы. Помогла ему только харьковская двоюродная сестра Любовь Ниловна Васильковская. Однако учился он хорошо, был на виду. Много читал, интересовался философией. Разносторонность его интересов была очень велика. Появился у него новый близкий друг – поэт Владимир Свешников, печатавшийся под псевдонимом Кемецкий. Им нравилось изображать эдаких буршей – веселых, беззаботных студентов...

Но в 1927 году один из студентов, некий Шулика (тоже харьковчанин) донес куда следует, и Щиrowsкого из Института «вычистили за сокрытие соцпроисхождения» (а если бы он не скрыл своего дворянства, его бы просто не приняли в Институт).

В том же году был арестован и сослан в Соловки и Свешников. Но и тогда они переписывались и обменивались своими стихами.

Некоторое время Щировский работал сварщиком на строительстве Балтийского вокзала. Но в рабочей среде он себя чувствовал белой вороной. Тогда написаны им стихи «Нынче суббота, получка, шабаш». Уйдя с завода, он живет то у одних, то у других друзей в Ленинграде или Харькове. В 1928 году знакомится с будущей женой Екатериной Николаевной Рагозиной и летом 1929 г. они вдвоем отправились в Коктебель к М. А. Волошину. У Вл. Евг. была к нему рекомендация от харьковских поэтов и Волошин принял их очень гостеприимно (как обычно он принимал и многих других). Щировский читал свои стихи, был одобрен. Пробыли они десять дней и на прощание М.А. подарил Владимиру свою небольшую акварель с коктебельским пейзажем, надписав ее: «На память Вл. Щиrowsкому, за детской внешностью которого я рассмотрел большого и грустного поэта».

Внешность Щиrowsкого, особенно в те годы, когда ему едва минуло 20 лет, действительно производила впечатление мальчика. Небольшого роста, худощавый, слегка сутулый, он выделялся какой-то подчеркнутой вежливостью, воспитанностью петербургского толка, был остроумно ироничен, одевался очень тщательно и пользовался неизменным успехом у женщин.

В 1930 г. они с Ек. Ник. поженились, обвенчавшись в одной из ленинградских церквей.

В Ленинграде Вл. Евг. встречался с Н. Тихоновым, которому он отдал на прочтение свои стихи, такие как «Идет он по бульвару *chevalier sans peur et reproche*» и другие. Тихонов сказал, что это «стрельба из пушек по воробьям», советовал разглядеть положительные стороны новой жизни и писать по-другому. Печатать не обещал.

В том же году Щиrowsкие переехали на жительство в Харьков в семью Ек. Николаевны. Для Вл. Евг. этот переезд не сулил хороших перспектив. Начинались трудные времена отмены НЭПа. Большая (12 человек) семья, в годы лихолетья собравшаяся около бабушки, бывшей генеральши, состояла из женщин. Мужья погибли на войне, дед-генерал умер раньше. Шестеро взрослых и шестеро детей были выбиты из колеи и не умели приспособиться к новой жизни. Сначала продавали драгоценности, во время НЭПа подрабатывали у частников вышивками и рисунками, а затем и вовсе начался распад.

Дома, блиставшие когда-то
Нерукотворной чистотой,
Утратив ясность и покой,
И неприглядны, и лохматы,
Как дурно вшитые заплаты...

писал А. Науман, часто бывавший в этом доме. Тем не менее, в период 1929–1931 годов Щиrowsким написаны прекрасные стихи, многие из которых посвящены жене.

В комнате у Щиrowsких постоянно собирались друзья; среди них чаще всего бывали Ал. Науман, Роман Самарин, Андрей Белецкий (сын украинского академика), Елиз. Новая (?), Шатиловы и другие. Это были любители и знатоки поэзии. Читали стихи, говорили о литературе, шутили, пили вино... Так было до ареста Щиrowsкого в 1931 году, и, хотя пробыл он в тюрьме недолго и был отпущен, – сразу все куда-то исчезли. Науман еще раньше уехал в Москву (позже он погиб в лагере).

После ареста В.Е. овладевает чувство обреченности. Одно из стихотворений, посвященных жене, он заканчивает так:

Когда не станет тут меня,
Когда меня убьют,
Не огорчайся, хороня
Минувший наш уют.
Легко переступи чрез грязь
И верь – наедине
С другим любимым веселясь –
Что весело и мне...

Полностью это стихотворение не сохранилось.

Вскоре В.Е. призвали в армию и до 1933 года он служил писарем при Харьковском Горвоенкомате. Тогда же на Украине разразился страшный, смертельный голод 1932–1933 годов. О нем теперь много сказано.

Ек. Ник. никогда не была умелой расчетливой хозяйкой, и в эти годы было продано всё, что можно было продать. Она любила мужа какой-то материнской любовью, может быть потому, что была старше него, понимала, что он талантлив, баловала и прощала ему всё. Он любил выпить. Отбывая службу в городе, Щировский ежедневно бывал дома, и она голодала сама, но покупала ему вино. И в конце концов заболела.

В семье из всех В.Е. выделял А. Н. Рагозину – любимую сестру жены. Ей он посвятил цикл стихов с эпитафией «Печальной смерти и пьяней вина». Тогда же написана и поэма «Бес».

После демобилизации Щировские решили уехать в Москву. Устроиться там им не удалось – не было жилья. Е.Н. болела, В.Е. служил секретарем вечернего отделения Инта ММИ; после того, как вечернее отделение закрыли, – в НИИ электросварки, и когда разбился стратостат, он в составе комиссии ездил осматривать гондолу – проверяли сварку швов.

Е.Н. попала в больницу – у нее родилась девочка, которая вскоре умерла. Жить было негде, вернее, нечем платить за частную квартиру –

Я валялся в черном теле,
Я внимал пустому брюху...

Кроме «Танцев у соседей», в Москве он написал всего два или три стихотворения.

Решено было вернуться, но комнаты в Харькове у них уже не было. И по совету кого-то из знакомых они отправились в Крым.

В Керчи тоже не сразу всё сложилось. В.Е. снова арестовали в 1936 году. В результате он оказался в психбольнице. Вспоминал, что к нему вернулся рассудок, когда его кормили с ложки, – это было первое сознательное впечатление.

После выздоровления музыкальное образование помогло ему устроиться на работу в Дом пионеров, клуб им. Энгельса и др. Впервые за долгие годы Щиrowsкий стал нужен, его ценили на работе и сам он, любя музыку, с интересом учил детей и молодежь. Его впечатления и мысли того времени отражены во Вступлении к циклу «Танцы» и других*.

* Тема танца, как тема искусства вообще, красной нитью проходит через всё творчество Щиrowsкого, начиная с «Терпсихоре, царскосельской статуе» 1930 года. Это боль о ненужности, обреченности подлинной высокой красоты в стране солдатчины. Она слышится и в синкопах «Танца у соседей», и, конечно, в последнем его цикле «Танцы». Но в «Танце бабочки» чуть брезжит надежда, что искусство не умрет, что оно будет жить, хоть и в примитивной форме.

Произошли изменения и в его семье. В 1937 году он разошелся с Е.Н. и женился на певице из самодеятельности Т. Я. Балабановой («Донна Анна»), хотя с Е.Н. у них сохранились самые добрые отношения.

В 1938 г. Щировский вместе с Т.Я. во время отпуска ездил в Москву. Видимо, он гостил у кого-то дома, где были поэты. Большое впечатление чисто внешнее произвела на него Ахматова (стихи ее он, конечно, знал давно).

После этой поездки он получил письмо (открытку) от Б. Пастернака, который похвалил его стихи, но помочь напечататься не обещал.

Время было суровое и не располагало к контактам. Пишет он перед войной много и плодотворно. Но многие рукописи и письма остались в квартире Т.Я.; которая в годы войны была арестована и выслана.

Когда началась война, в первую мобилизацию Щировский не попал, т. к. был болен (воспаление аппендицита). Но когда немцы ворвались в Крым, в нашу армию забрали всех без исключений. Это было в конце июля 1941 г.

После того как немцы заняли Керчь, они всех местных пленных отпустили домой. Так вернулся и сосед Е.Н. по двору – Бондаренко. Он рассказал, что служил санитаром при госпитале, видел там В.Е. На его глазах во время эвакуации госпиталя снаряд (или бомба) прямым попаданием разнесли машину, где были раненые, в их числе и В. Е. Щировский. Это произошло под Геническим. Могила его неизвестна.

В судьбе В. Е. Щировского, может быть, наиболее полно отразилась трагедия русской культуры XX века. Чувствуя свою одаренность, он видел, что талант его не мог найти признания в официальной литературе тех лет, и слишком любил поэзию, чтобы унизиться до воспевания того, что он презирал.

У Щиrowsкого осталось два сына, оба родились в Керчи. Николай Владимирович – у первой жены. Теперь он инженер-нефтяник, живет и работает в гор. Нефтекумске Ставропольского края. У него семья – дети, внуки. У второй жены родился сын Герман. Он тоже закончил институт, женился, жил в Караганде. Адреса его у меня нет.

Рукописи Щиrowsкого, частично переписанные ее рукой, сохранила Е. Н. Щиrowsкая, ныне покойная. Она верила в талант мужа и ждала, что стихи его будут опубликованы – ведь

Ливни, оживляя зерна,
Проходят по следам засух.

А. Дорфер
1990

ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ В САДАХ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

И в садах двадцать первого века,
Где не будут сорить, штрафовать,
Отдохнувшего человека
Опечалит моя тетрадь...

В. Щировский

Корней Чуковский написал в предисловии к сборнику стихотворений Блока: «Поэзия существует не для того, чтобы мы изучали ее или критиковали ее, а для того, чтобы мы ею жили»*. Эти слова вспоминаются всякий раз, когда держишь перед глазами тексты Владимира Щировского. Изучать стихи Щировского можно только после того, как напьешься, надышишься ими. Многие поэты думают и пишут о душе. Щировский – это не о душе, а сама Душа. Читая его стихи, трудно отрешиться от мысли, что эти стихи читают тебя самого и тихо тебе сочувствуют. Поэтому подходить к ним с привычным набором филологических инструментов как-то неловко. Тем не менее, долг публикатора требует хотя бы кратко оговорить основные сюжеты, темы и образы поэзии Владимира Щировского.

Стихи Владимира Щировского пришли к читателю очень поздно, но не слишком поздно. Можно даже сказать, что Щировский был дан нам своевременно, когда российский читатель, пройдя все круги адского XX столетия, узнал истинную цену и большевизму, и развитому социализму, и советскому патриотизму. Случилось так, что во всем своем столетии поэт не нашел адекватного читателя. Напечатанные ранее, стихи его вызвали бы шквал обвине-

* Чуковский К. Александр Блок // Блок А. Лирика. М., 1985. С. 8.

ний передовой советской общественности – сперва во враждебности строю, затем в упадничестве, а в конце режима – в эстетстве и эгоцентризме. Встретили его уже под занавес столетия в перестроечной России, и трудами троих доброхотов – А. Н. Доррер, Е. А. Евтушенко и Е. В. Витковского – Владимир Щировский оказался во времени, где его способны если не понять, то хотя бы напечатать. Возникла парадоксальная ситуация: Щировский догнал будущего, совершенно неведомого читателя, хотя творчество его обращено к читателю прошлых времен, которых сам поэт не застал. Его идеал и его вера – Серебряный век, «тонкое детство двадцатого века»; его действительность – «скучная романтика» первых пятилеток; его упование – «сады двадцать первого века, где не будут сорить, штрафовать». Впрочем, это упование на культурность будущего человека вряд ли связано с умилением поэта перед самим будущим и еще менее оно связано с надеждой на понимающего читателя. Тем не менее, пришествие ностальгирующего по прошлому поэта-аристократа в следующий век нужно признать свершившимся фактом.

Подобно античным поэтам, Щировский не оставил автографов: все его стихи переписаны с каких-то древних манускриптов первой женой поэта Е. Н. Щировской и сестрой первой жены А. Н. Доррер. В этих копиях полно грамматических ошибок и часто отсутствует пунктуация. Некоторые стихи записаны по памяти, с пропуском строк и даже целых строф, и оттого выглядят как недосказанный эпос. От руки самого Щировского осталась только записка в одну строчку, обращенная к А. Н. Доррер: «пришел, но Вас дома не застал» (Д. 6*). Единственная фотография – как иллюстрация к словам М. Волошина: «детская внеш-

* Список условных сокращений см. на с. 125–126.

ность», «большой и грустный поэт». Личных вещей нет. Могилы нет. Двое сыновей где-то на окраинах России...

Пересказывать биографию нет смысла, все факты и сведения читатель может найти в прилагаемой статье А. Н. Доррер. Еще будут изучать жизнь родителей поэта, его жизнь в Петербурге во время недолгого пребывания в университете; будут много писать о его месте в харьковской поэтической жизни 1920-х годов, о непростых чувствах к сестре первой жены, о дружбе с В. Свешниковым (Кемецким) и А. Науманом – утонченными эстетам и жертвами ГУЛАГа. Не стоит предаваться домыслам и вымыслам, пока не изучены архивные документы. Внимание заостряется лишь на одном биографическом факте – позднем рождении поэта. Поздний ребенок сенатора, вышедшего в отставку. Воспитан по канонам начала XX века, культурой и культурностью обращен в прошлое, свидетелем которого не был.

Биография предопределила трагедию поэта, но не исчерпала содержание его творчества. Поэтому от внешнего сразу перейдем к внутренним аспектам жизни Владимира Щиrowsкого. На публикуемом здесь материале вполне возможно описать его поэтическое мировоззрение, определить круг чтения поэта и выделить ключевые концепты, выражающие систему его ценностей.

Главное, потаенное сказано вот здесь:

Да, жизнь звучала бурно, горько, звонко,
Но смерть близка и ныне нужно мне
Вскормить собаку, воспитать ребенка
Иль быть убитым на чужой войне.

(«Квартира снов, где сумерки так тонки...»)

Как бы странно это ни прозвучало, но Владимир Щиrowsкий действительно был убит на чужой войне – убит

случайной бомбой в грузовике, вывозившем раненых из оккупированного Крыма. И свою космическую задачу – «вскормить собаку, воспитать ребенка и послужить чужому бытию» – он к этому времени уже выполнил. Теперь обратим внимание на последние шесть строк. Здесь поэт сообщает читателю свой личный миф – миф умирающего и воскресающего бога, шумерского Думузи (вариантом которого в стихах поэта был растерзанный менадами Дионис). Именно Думузи – падшее в землю и проросшее ячменное зерно – был на Ближнем Востоке богом весенней природы. И погибал он тогда, когда весенние силы его оказывались нужны для поддержания плодородия земли. Об этом же – еще одно стихотворение Щиrowsкого, где миф Думузи воспроизводится уже открытым текстом:

Истлел герой – возрос лопух.
Смерть каждой плоти плодотворна.
И ливни, оживляя зерна,
Проходят по следам засух.

(«Ничто»)

Это не вычитанный миф, а центр сознания самого поэта. Именно так он воспринимает и свою жизнь, и свою обреченность в этой жизни. Но миф Думузи касается только жизни одной части поэта – Плоти.

Второй центральный образ личной мифологии Щиrowsкого – образ Души как монады мира.

Вселенную я не облаплю –
Как ни грусти, как ни шути,
Я заключен в глухую каплю –
В другую каплю – нет пути.

(«Вселенную я не облаплю...»)

Ты мне скажешь – дождик захлюпал.
Я отвечу – мир не таков:
Это вечности легкий скрупул
Распылился ливнем веков.

(«На твоей картине, природа...»)

Ведь знамо мне, что вовсе нет
Всех этих злых, бесстыжих, рыжих,
Партийцев, маникюрш, газет,
А есть ребяческий «тот свет»,
Где вечно мне – двенадцать лет,
Крещенский снег и бег на лыжах...

(«Дуализм»)

И когда, отбыв земное лихо,
Тело свой преодолает срок,
Полетит душа легко и тихо
На зеленый милый огонек.

(«Зеленый огонек»)

Душа-монада Щиrowsкого имеет свое вечное пристанище в гостеприимном мире, где горит «зеленый милый огонек» («Зеленый огонек»), недоумевает по поводу желаний Плоты («Дуализм») и обладает способностью к танцу в хороводе подобных себе душ («Танец души»). Душа не помнит своего прошлого, но всегда помнит о тех, кого она любила.

Итак, в личном мифе Щиrowsкого просматривается довольно стройная конструкция. Поэт чувствует себя разделенным на Плоть и Душу. Плоть его стремится к выполнению некоего долга перед здешним миропорядком, а после смерти человека дает начало другим телам; бессмертная Душа устремляется в заветный мир Зеленого Огонька, утрачивая память обо всем плотском. Если же Душа

помнит о своей любви – значит, любовь исходила от нее, а не от Плоти, и в таком случае любовь является силой, исходящей от мира душ.

От центра сознания обратимся к его периферийным ответвлениям, составляющим восприятие прошлого, будущего и настоящего. Щировский родился не в свое время. Если бы это произошло в начале 1890-х годов, он мог бы спокойно вписаться в компанию акмеистов или стать участником «Цеха поэтов». Его любовь к прошлому (преимущественно, античному и возрожденческому) в сочетании с поэзией и музыкой ввела бы его в круг друзей М. А. Кузмина. Его классический стих был бы близок Н. С. Гумилеву и О. Э. Мандельштаму. Поступив в университет в конце 1900-х годов, Щировский стал бы специализироваться по древности и оказался бы однокурсником В. К. Шилейко, с которым ему было бы о чем поговорить. Но, к несчастью, всё произошло слишком поздно, и в его эпохе у поэта-аристократа просто не оказалось равных собеседников. О нем сказали добрые слова Волошин и Пастернак, но – уже после конца прекрасной эпохи, когда сами должны были затаиться и молчать. Что же оставалось? Оставались книги.

Круг чтения Щировского, судя по доступным стихотворениям, охватывал только русских и европейских авторов. Пушкин представлен у него образом Владимира Ленского. Сам поэт, несомненно, примерял на себя жребий юноши-стихотворца, погибшего от пули друга во цвете лет:

Есть в комнате простор почти вселенский.

Весь день во мне поет Владимир Ленский,

Блуждает запах туалетных мыл.

И вновь: «Ах, Ольга, я тебя любил!»

(«Есть в комнате простор почти вселенский...»)

Свой смертный саван видишь, Ленский? Олино
Среди куртин белеющее платье?

(«Отъезд, вино...»)

Но не только буквальное упоминание имен Ленского и Ольги следует отнести к пушкинской теме в творчестве Щиrowsкого. Сами размышления поэта о возможных вариантах своей судьбы («Быть может, это так и надо...») – то ли жизнь в мещанском кругу комсомола, то ли расстрел по доносу любящего соседа – отправляют читателя к пушкинским размышлениям о потенциальных судьбах Ленского после его гибели от руки Онегина.

Если Ленский был юношеским двойником поэта, то в поздние годы Щиrowsкий примерил к себе образ Чацкого. За отъездом Чацкого он чувствует желание Грибоедовского героя погибнуть от любви. Поэтому заключительные строки «Вальса Грибоедова» звучат как самоакливание:

Шел снежок, не спеша и не густо...
Елки в святости зимних седин...
И трудящийся рыл гражданин
Уголок оскорбленному чувству.

Но до этого мне далеко...
От любви умирают не часто.
Балерина в телесном трико
Даст мне ручку белей алебаstra.

Даст мне нежную ручку – и баста!..
Предрассветных небес молоко,
Дальний вальс утихает легко...
От любви умирают не часто.

Следующее значительное имя – Баратынский. Его строки стали эпиграфом к стихотворению «Убийства,

обыски, кочевья...», его именем заканчивается поэма «Ничто».

... Ты Гамлет! Ты Евгений Баратынский!
О, где вы, «розы Леля?» Nihil. Бред.

Цитируемые Щиrowsким слова относятся к стихотворению «Старик» (1828), в котором 28-летний Баратынский оплакивает свою молодость и уходящее ощущение свежести бытия. Щиrowsкий также рано почувствовал себя стариком и вслед Баратынскому нашел для своей поэзии «язык молчания о бывшем и отпете» («Акростих»; ср. с теми же мыслями Баратынского в стихотворении «Предрассудок»). Как и Баратынского, его привлекал зов прошлого и беспокоили размышления о скорой смерти:

Зачем мне скучная борьба,
Зачем мне звезды, винограды,
Бараны, пастыри, хлеба,
Правительственные парады...
(«Звучи, осенняя вода...»)

Любимый Гумилев остался героем одной строфы («Скрябин, Эйнштейн, Пикассо, Гумилев»), но его образность проступает еще в одном фрагменте:

Чтобы снились нам джунгли и звери там
С иступленьем во взорах сторожких...
(«На блюдах почивают пирожные...»)

Однако в целом гумилевского влияния в поэзии Щиrowsкого почти нет. Зато очевидно много – есенинского. Вот самые характерные примеры:

Церкви, клуба, жизни мимо
Прохожу я днесь.
Всё легко, всё повторимо,
Всё привычно здесь.
Как же мне не умилиться,
Как же не всплакнуть,
Поглядев на эти лица
И на санный путь?

(«Горсовет, ларек, а дальше...»)

Крикну «долой!», захриплю, упаду,
Нос расшибу на классическом льду,
Всю истощу свою бедную прыть –
Чтобы хоть вечер несчастным побыть!

(«Нынче суббота...»)

Как и Есенин, Щировский чувствует себя странником, идущим мимо этого мира, его тяготит советское запланированное счастье, он страстно хочет неповиновения «скудной романтике» мещанского быта. Только Есенин мог бы написать такие строки:

Я думаю: девочка милая,
Дура моя золотая,
Зачем я хвастаю силою,
Умные книги читаю?

Пусть тебе песни нравятся
Этого юного люда.
Ты вырастешь красавицей
Под пигалицыны баллады.
Будь умной: я стар и глуп.

(«Пигалица злополучная...»)

Это его, есенинские, размышления о новой молодежи, которая «под гармонику, наяривая рьяно, поет агитки Бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол...». И его жалость к животным и птицам. И его понимание своей отсталости от песен «этого юного люда». И его недоумение по поводу своих знаний, которые не в силах помочь поэту понять новое. В Щиrowsком много подспудно-есенинского, может быть, вследствие близости поэтических и человеческих темпераментов (любовь к вину, поиск женского сочувствия, по воспоминаниям – тяга к самоубийству). Есть даже такие строки, которые прямо приводят к прологу «Черного человека»:

Мой друг, мой друг! Ты видишь, я старею.

Я озверел и смерть страшит меня:

Вот я встаю – и мир мне вяжет шею

Безумной, позлащенной петлей дня.

(поэма «Ничто»)

О Брюсове поэт вспоминает как о минутном увлечении ранней юности и даже сравнивает его противопоставление Пушкину с сумасшествием. Более Брюсов никак в нем не отзывается:

Я помню младость. Помню: младость

Пьянила... Пушкина прочтя,

Промолвило: «Какая гадость»

Сумасходящее дитя.

И мукой сладостных укусов

Пытал неясное мое

Младенческое бытие

В те времена Валерий Брюсов.

(поэма «Ничто»)

С Ахматовой Щиrowsкого роднит очень похожий взгляд на жизнь, но явным образом ее влияние проступает в одной строке: «Живу надменно и чердачно / И сокровенно...» (ср. «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас»). Об ахматовском направлении поэтической мысли Щиrowsкого мы скажем далее в связи с «Реквиемом».

Как ни странно, у Щиrowsкого есть одно совершенно мандельштамовское стихотворение. Причем это мандельштамовская поэтика и образность 1930-х – армянских и воронежских – лет. И написано оно в 1938 году, когда сам Мандельштам был уже далек от карандаша и бумаги.

Спит душа, похрапывая свято –
Ей такого не дарило сна
Сказочное поило Арарата,
Вероломство старого вина.

Спи, душа, забудь, во мрак влекома,
Вслед Вергилию бредя,
Тарантас заброшенного грома,
Тарантеллу кроткого дождя.

(«Скучновато слушать, сидя дома...»)

Создается странное впечатление, что даже метрически Щиrowsкий допевает за каторжного поэта его последнюю песнь.

Еще один притягательный для Щиrowsкого автор, на сей раз из чуждого мира прозы – Достоевский. Он властен над воображением поэта только в Петербурге:

Город блуждающих душ, кладезь напрасных снов.
Встречи на островах и у пяти углов.

Неточка ли Незванова у кружевных перил,
Дом ли отделан заново, камень ли заговорил.
(«Город блуждающих душ...»)

Вот – слезы по лицу размазав –
Я Достоевского прочел...
Я – не Алеша Карамазов,
Я нежен, мрачен, слаб и зол.

А Муза, ластясь и вясь,
Тихонько шепчет: «Нежный князь!
Премудрый отрок, смутный инок,
Не плачь из-за пустых лучинок.
(«Поэт и Муза»)

Очень характерно это двойное сравнение себя со «смутным иноком» Алешей Карамазовым и с «нежным князем» Мышкиным (ср. также: «Вот я иду, от пошлости, как в детстве, бессмертным идиотством упасен»). Объединяет эти эпитеты третий – «премудрый отрок». Впрочем, вполне возможно, что о «нежном князе» поэт вспомнил и в связи с образом Болконского в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. В любом случае нужно отметить сильное эмоциональное воздействие романов Достоевского и самой атмосферы Достоевского на жившего в Петербурге (именно так – для Щириковского не существовало Ленинграда) юного поэта.

Достоевский смыкается с Блоком в поэме «Бес». Идея поэмы несомненно восходит к роману Достоевского, но пролог оформляется блоковской интонацией из «Пузырей земли»:

На вечерней проталинке
За вечерней молитвою – маленький
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой.

(«Болотный топик»)

В рощах, где растет земляника,
По ночам отдыхают тощие бесы,
Придорожные бесы моей страны.
Бесам свойственно горние вздоры молоть,
И осеннего злата драгую щепоть
Бес, прелестной березы из-за,
Агроному прохожему мечет в глаза.

(«Бес»)

На этом русские предпочтения Щиrowsкого, кажется, исчерпаны. Шинель Поприщина – скорее чисто петербургский образ, нежели знак воздействия гоголевской прозы. Есть также намеки на сборники символистов («попрощаться со звездным кормилом под Аполлоновых лет лебедей» – нечто из Вяч. Иванова («Кормчие звезды») в купе с И. Анненским).

Кроме сознательного отбора того, что дорого и близко, поэт обязательно находится под воздействием того, что в его эпоху находится на слуху. Таким шумовым воздействием на всех без исключения поэтов 1930-х годов обладали посмертно растиражированные строки Маяковского. Щиrowsкий невольно захватил своим слухом некоторые слова и образы чуждого ему пролетарского поэта. Так, например, «Туберкулезной акации ветка, Солнце над сквером...» – парафраз на тему «По скверам, где харкает туберкулез...» из вступления к поэме «Во весь голос». Да и сами строки о «садах двадцать первого века, где не будут сорить, штрафовать» – что это, если не хрестоматийный образ будущего как «города-сада», в котором, повинуюсь

призыву «Окон РОСТА», сознательные граждане будут соблюдать одиннадцатую заповедь: «Будьте культурны – плюйте в урны!»? Правда, и в этом случае Щиrowsкого трудно упрекнуть в неразборчивости, поскольку город-сад будущего каким-то образом соединился с его собственным образом садов прошлого («облик сада, где в древнем детстве я играл»). То есть в образе «садов двадцать первого века» читателю этого века слышится в одинаковой степени и отзвук романтических мечтаний Маяковского, и собственное слово поэта-ретрограда Щиrowsкого о возвращении его детского Эдема.

Из европейских героев в круг предпочтений поэта входят шекспировские Тарквиний, Ромео и Гамлет, испанко-пушкинский Дон Гуан, поддельные песни Оссиана (которыми вдохновлялся и Мандельштам), дантовский Паоло, принц из сказки Ш. Перро. По большей части все эти образы – вариации на одну и ту же тему. Это тема вины героя перед некоей женщиной, которую он полюбил, но вместо обещанного счастья обрек на гибель (Лукреция, Джульетта, Офелия, Донна Анна, Франческа) или на страдание (Золушка-Сандрильона). К этой же теме, кстати говоря, следует приписать и русские образы Ленского и Чацкого. Особое место в сознании поэта, бесспорно, занимает рассказ Э. По «Лигейя» – история женщины, переселившейся после смерти в новое тело (что в чем-то созвучно мистическим настроениям раннего Щиrowsкого). На периферии предпочтений остаются В. Скотт (Айвенго), Андерсен, Дюма, списком перечисленные в поэме «Ничто».

Далее идут музыкальные темы и предпочтения. Бетховен нелюбим из-за его духовного «гнета», в фаворитах – «ясный Бах» и утонченный Рамо, балеты и классический танец. Античные музы Щиrowsкого – Мнемозина (богиня памяти) и Терпсихора (богиня танца). Отсюда любовь к искусству прошлого и еще одна трагическая тема в поэзии

Щиrowsкого, о которой пишет в своих мемуарах А. Н. Доррер: «Тема танца, как тема искусства вообще, красной нитью проходит через всё творчество Щиrowsкого, начиная с «Терпсихоре, царскосельской статуе» 1930 года. Это боль о ненужности, обреченности подлинной высокой красоты в стране солдатчины. Она слышится и в синкопах «Танца у соседей» и, конечно, в последнем его цикле «Танцы». Но в «Танце бабочки» чуть брезжит надежда, что искусство не умрет, что оно будет жить, хоть и в примитивной форме».

Что ж, кончай развоплощение,
Костюмерше крылья сдай.
Это смерть, но тем не менее
Все-таки дорога в рай.

(«Танец бабочки»)

Еще одна важная составляющая творчества Щиrowsкого – философия. А. Н. Доррер пишет о его начитанности в этой области, и в сохранившихся стихах мы можем различить, по крайней мере, две философских нити, идущих от П. Я. Чаадаева и О. Шпенглера. Апелляция к Чаадаеву очевидна:

Хоть искали иную обитель мы,
Всё же вынули мы ненароком
Жребий зваться страной удивительной,
Чаадаева злым уроком.

(«На блюдах почивают пирожные...»)

Шпенглеровские идеи о пути культуры от расцвета к упадку приводятся очень близко к тексту. Впрочем, не исключено здесь и возможное влияние К. Н. Леонтьева, высказывавшего те же мысли за полвека до «Заката Европы».

И статистически сверхобъективный метод,
Всю политехнику желаний, злób и сук, —
Почто я так легко могу отдать за этот
Пустой глоток вина и пьяный трепет рук?
(«Слежу тяжельый пульс...»)

Ср. у Шпенглера: «Если под влиянием этой книги люди нового поколения обратятся к технике вместо лирики, к военно-морской службе вместо живописи, к политике вместо критики познания, то... лучшего нельзя им пожелать» (Закат Европы. М., 1993. С. 176).

Шпенглериянство Щиrowского – и от тоски по мировой культуре, и от ощущения гибели всего аристократического в мире. При этом и сам он – аристократ – оказался таковым только по воле судьбы, а не по собственному выбору («Разве мы выбираем брюхо для зачатия своего?»). Но от этого ему не легче, потому что остальные люди его эпохи не понимают, что такое воля судьбы. Говоря пошпенглеровски, человек Культуры (эпохи совершенства, когда одинаково развиты и Тело, и Душа) случайно оказался в мире Цивилизации (когда Тело культуры еще живо, а Душа уже умерла). Слишком поздно захотел завести детей отец-сенатор, прививший сыну вкусы умирающего прошлого и не научивший жить в новом мире, потому что сам он этому миру не принадлежал.

Необходимо отметить, что все книжные реминисценции стихотворений Щиrowского обусловлены не его желанием выказать свою эрудицию или продемонстрировать определенность общественной позиции (как это было бы у разночинского или постмодернистского поэта), а исключительно созвучиями книжных образов с настроениями и мыслями самого поэта. То есть не мировоззрение поэта складывалось из книг, а сами книги служили иллюстрациями поэтического мировоззрения. В этом распоряжении

культурой, кстати, проступает нечто подлинно аристократическое: если разночинец благоговеет перед книгой и всего себя готов составить из прочитанных книг, то аристократ понимает, что сама книжная культура зависит от традиции, берущей начало в его родовой памяти.

От связи с прошлым в стихах Щириковского следует перейти к сфере угаданного его поэзией будущего. Можно указать, по крайней мере, на три таких пророчества. Первое – это завершающая часть поэмы «Ничто», в которой интонационно и тематически отчетливо проступает ахматовский «Реквием»:

Бродит в ДОПРе мутный сон,
Часовой идет.
Тяжек глупый наш полон,
Скучен хлад и гнет.

Все одно и то ж:
Закричит сосед во сне,
Не спеша по стене
Проползет вошь.

Но душа, живет она,
Неких свежих влаг
Предвкушением полна,
Уловляет, ясна,
Дальний лай собак...

Ср:

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне

и многие другие строки.

Второе несомненное поэтическое пророчество Щи-
ровского – «Вчера я умер, и меня...», на десятилетия пред-
восхитившее пастернаковский «Август». Оно заканчива-
ется утеканием посмертного сознания и торжеством смер-
ти, но в нем присутствует и радость от нескончаемости
самого бытия:

Сквозь запотевшее стекло
Вбегал апрель крылатой ланью,
А в это время утекло
Мое посмертное сознание.

И друг мой надевал пальто,
И день был светел, светел, светел...
И как я перешел в ничто –
Никто, конечно, не заметил.

Одновременно это и несогласие с будущим Пастерна-
ком по поводу его церковно-мистического восприятия
смерти:

И было очень тошно мне
Взирать на смертный мой декорум,
Внимать безмерно глупым спорам
О некой божеской стране.

И становился страшным зал
От пенья, ладана и плача...
И если б мог, я б вам сказал,
Что смерть свершается иначе...

У современного читателя создается странное впечат-
ление, что это «вам» адресовано именно позднему Пастер-
наку.

Третья отсылка к будущему носит скорее формальный и метрический характер. У Щиrowsкого, которого по большинству его стихов Цветаева могла бы назвать «молодым Державинным», изредка встречаются как свободный стих, так и рифмованный стих, перемежающийся свободным. Есть у него и диссонансные рифмы. Приемы эти явно предвосхищают работу советских андеграундных поэтов 1960-х годов.

Только нет, к Вам придут, Вас возьмут
Умыкнут, изувечат, никому не покажут
В криминальной, промозглой ночи
Хватит лиру о камень мрачный ассенизатор
На свистулке сыграют для Вас
Песнь пузатых пенатов, вожденного быта
И друзья не придут поглядеть
На мои франтовские
Асфодели в петлице

(«Как избежены эти пути...»)

Итак, поэзия Владимира Щиrowsкого обращена не только к идеалам прошлого, но также к темам и формам будущего. Что же касается настоящего, то оно скучно, не-мило, нелюбимо, но никогда не презираемо поэтом. Щиrowsкий не относится к людям насмешливо или презрительно, как Лермонтов. Он или сочувствует, или скорбит, или вовсе пытается найти в неинтересном современнике человеческие черты. Отрицает он только сам порядок вещей, саму общественную атмосферу, в которой гибнет всё нежное, возвышенное и прекрасное. Но как отрицает? В стихотворениях поздних лет есть несколько буддийских аллюзий:

Но кто неспавший выйдет на рассвете,
Перегорев от страсти, от водки или просто так
перегорев,
Тот может вдруг отвергнуть штуки эти –
Веселые трамваи,
Гудки заводов,
Каблучки деловитых дев.

Тот не поймет – чему же тело радо?
Буддийской ломоте в костях –
Предвестию священных льгот?
Вдруг прянет пьяный бред – Голконда, Эльдorado,
Но ничему не удивится тот.
(«Молитва о дикости»)

Но нет, живу. Дробится мир в зеницах,
Девятый вал пророчит мне авто.
В солдатиках и в девах круглолицых
Мне чудится буддийское Ничто.
(поэма «Ничто»)

Это очень важный момент для характеристики как религиозности, так и социального сознания Щировского. Он воспринимает действительность вокруг себя как иллюзию, а эта иллюзия и есть не что иное, как отказ беременной женщины от нирваны, влекущий за собой все страсти тела и пошлость земного существования. Поэтому поэт не протестует, не проповедует против действительности, а проходит сквозь нее, как просветленный Будда сквозь иллюзии Мары. Вот отсюда, с позиции просветленного сознания, вернемся теперь к странной строчке: «иль быть убитым на чужой войне». Вспомним и одно из последних стихотворений:

Или Гитлер жжет библиотеки,
Или кот мурлычет на печи,
Или телу розовых царапин
Надобно. Какая чепуха.

(«Или око хочет...»)

И строки из «Танца души»:

Все – как женилась, шутила и плакала,
Злилась, старела, любила детей, –
Бред, лепетанье плохого оракула,
Быта похабней и неба пустей...³

Вся действительность, весь мир – не что иное, как иллюзия, поэтому для буддиста любая война – в принципе чужая, а его стремление – туда, где истории больше не будет. Поэтому все события равно ничтожны, перечисляются как варианты подряд, списком: «или...или...или...» Человек, торжествующий в этом мире, – «средних лет делопроизводитель», а его жизнь наполнена отвратительными подробностями семейного быта, о которых Щиrowsкий пишет с заметным содроганием, противопоставляя их книжной мудрости предков:

Печаль отцов, молва ученых чижииков,
В кровавую кошелку полезай-ка.

* Во всех предыдущих публикациях стихотворения неверная пунктуация через запятую: «злилась, старела, любила детей, бред, лепетанье плохого оракула...». В подлиннике после «детей» выразительная точка с запятой, меняющая смысл предложения: все произошедшее с душой в ее плотской жизни *есть* бред и лепетанье плохого оракула.

Близь шашлыков, среди лимонов выжатых
Раскрыт «Подарок молодым хозяйкам».
(«О, молодость моя невозвратима...»)

Буддизм Щиrowsкого при этом весьма непоследователен, поскольку поэт верит в существование Души и в ее вечное обитание в уютном мире Зеленого Огонька. Впрочем, не стоит осуждать в нем эту непоследовательность: в атмосфере безрелигиозной жизни поэт по кусочкам отбирал во всех верах то, что было ему близко и понятно. О христианстве напоминают только строки о Страстном Четверге, почему-то отвергнутом поэтом («Где над людской помойкой в гуле...»), и стихотворение об Иоанне Богослове (точнее, о видении Апокалипсиса).

Работаю и ем. Так провожу свой день я.
И сделался душе таинственно сродни
Не этот злой галдеж, не эти наши дни,
Но ледящий смысл Патмосского виденья.

Вокруг живут мужи,
И бриты, и свежи,
И девушки снуют,
Неся цветы в уют.

(«От Иоанна»)

Смысл этих строк прозрачен: Душа поэта, живущая в мещанском быту советской действительности, мечтает о конце ненавистного ей мира. Что же до Страстного Четверга, то этот день, связанный, как известно, с Тайной Вечерей, Евхаристией и предательством Иуды, мог восприниматься поэтом как время каких-то дорогих лично для себя воспоминаний («Был дом и был Страстной Четверг»). Пока этот контекст не очень понятен.

От реконструкции поэтического мировоззрения и круга чтения Щиrowsкого перейдем к особенностям его языка, позволяющим понять систему ценностей поэта. Количество архаизмов предоставим подсчитать другим (неологизм, кажется, один – «тьфусти»), сами же сосредоточимся на наиболее значимых, а потому – частотных словах лексики поэта.

Нежный (16): В предельной *нежности*, в безмерном чарованье; Моя память спокойно, свободно и *нежно* хранит; Луну любя растерянно и *нежно*; Тихонько шепчет: «*Нежный* князь!»; Нам и *нежность*, и книги, и водка; Но сладко вспоминают руки Весомость *нежную* ее; Возведу ее *нежной* рукой; И скажем что-нибудь такое в *нежном* роде; Привыкнув, мы стали вскоре к соседкам *нежны* при всех; Даст мне *нежную* ручку – и баста!...; Средь сада *нежного* стоял прекрасный дом; Мой *нежный* друг, мой тихий Саша?; Все было глупо, *нежно*, мило; И мне для *нежности* совала Несовершенные тела; Пусть песни *нежные* и хищные Слетят на подоконник вечности; Я *нежный* отдых нахожу и сон.

Нежность в стихах Щиrowsкого является синонимом любви. Нежен и сам поэт, и его тело, и его память, и его песни, и состояние его покоя. В единственном контексте (слова в нежном роде) нежность служит знаком пошлости.

Милый (20): Я думаю: девочка *милая*; Частица *милая* веселой суеты; В *милом* доме, доме старом; Я ли откажусь от кроткой взманы *Милого*, зеленого огня?; Полетит душа легко и тихо На зеленый *милый* огонек; Я *милая*, я все могу; Дрогни, гитара! Бутылка, блесни *Милой* кометой в *немилые* дни; Как же мне не *умилиться*; Как *мил*, как трогателен сей незабываемый Под детской грудью слабый поясок;

Провинциалочка! *Милую* ручку Дайте поэту кошмарных времен; Я хожу к тебе, *милая* Оля, В черном теле, во вретнице злОб; В *милом* балете родимой зимы; Как были некогда *милы* Детей безгрешные балы; И дома *милого* касался ветер вьюги; Лукавя старикам и *милых* дам смеша; А помнишь, *милый*, помнишь те Академические бреды; Все было глупо, нежно, *мило*; *Милую* школьницу учит весна; *Милый* и стройный молодой человек.

К разряду *милого* и *милых* у Щиrowsкого относятся женщины, Муза, старый дом, блаженный потусторонний приют души, обычаи прошлого, а также вино и веселье.

Стар(32): Качели, бури, *старость* и кончина; Будь умной: я *стар* и глуп; *стародворянские* пруды; И громы ладные *старинных* ливней; И любимыми ставшие образы *старых* коварств; В *милом* доме, доме *старом*; И наши *старые* сердца; Сумерки в *старом* саду; *Старчески* ясно любя; И покрой ее земного платья, Как весна, неизмеримо *стар*; Я впадаю в твою дребедень, Как впадает в маразм *старикашка*; Под имперскую, *старую* крышу; *Старухи* чинно обмывали; Стынет дохлая *старуха*, Ни добра, ни зла; Разведал *старческую* грань я; Как *старится* лицо; Вот и *старость* близка; И в *старости*, вдруг; Вероломство *старого* вина; *Устарелый* кораблик – кому-то Он счастливую встречу принес; *Старый* клуб отделан заново; Злилась, *старела*, любила детей; В *старом* Париже я был театральным танцором; В завидущих глазах *старушонок*; *Старой* девы над чахлыми розами Раздастся плач; Для *старческой* души целительным теплом; Лукавя *старикам* и *милых* дам смеша; Женился в *старости* и породил меня; Мой друг, мой друг! Ты видишь, я *старею*; Персть и твердь он *старчески* ценит; К *старичку* генералу; В эту ночь расстреляли *старичка* генерала.

Старость раскрывается у Щиrowsкого сложно и неоднозначно. С одной стороны, всё старое вне самого человека мило и дорого; с другой стороны – облик человеческой старости и процесс старения пугают поэта. Есть еще одно свойство старости – мудрость (старчески ясно любя), но даже в этом контексте человеческая старость остается печальным и непривлекательным законом природы.

Память (6): Но ушедших от нас, и поэтому только любимых, Моя *память* спокойно, свободно и нежно хранит; В строгой *памяти* живы друзья, и вино расставанья Затаил и сберег любопытный и дерзостный вкус; Он живет, чужому чуждый маю, *Памятью* моей припоминая Плеск колодца, говор, стук амфор; Можно просто ценить вечера И свою олимпийскую *память*, Предводящую бегом пера; И всё любимое когда-то Сквозь *память* выступит, как пот; Наяву с каждой секундой всё меньше и меньше меня, Пылинки мои уносятся, попусту *память* дразня.

Память в поэтическом мире Щиrowsкого обладает свойством нежности (т. е. любви). Она хранит как близкие образы прошлых времен, так и мгновения собственной жизни поэта. Щиrowsкий называет свою память олимпийской, сравнимой с памятью греческих богов, и считает ее основой своей творческой силы (ср. также контексты с Мнемозиной). Память пытается задержать уходящее плотское бытие поэта в его сознании – впрочем, тщетно: остаются только воспоминания о приключениях души.

Скука, скучный (19): Наша романтика *скучная*; Сам себе говорю – «*не скучай*»; И *скучен* мне дневной обычаем – Шум человека, звон посуды; Зачем мне *скучная* борьба; Всю политехнику желаний, злób и *скул*; Солнце над сквером... Но *скука* всё та ж; Древняя *скука* уводит к могилам; *Скучновато*

слушать, сидя дома; И лапы *скуки* все короче, И проступают все живей Нерусские, немые очи Над полукружьями бровей; Укрась собой мой *скучный* дом; *Скучный* вечер при дверях; И не припомнить ей *скучную* быль – То ли была она где-то расстреляна, То ли попала под автомобиль; Был на виду у придворных *скучающих* дам; От приморского *скучного* сада; Как *скучно* допустить, что испражнялась Ева! Для *скуки* этакой и вечность коротка; Я внемлю и смеюсь: мир *скучен* и греховен; Взглянул на все глазами *скуки*; *Скучен* хлад и гнет.

К области *скуки* и *скучного* относится вся плотская жизнь людей и вся социальная действительность, окружающая душу поэта. Вырвать из *скуки* может только любовь. Характерно, что *скука* имеет ассоциацию с политехникой (см. выше о шпенглерианстве Щиrowsкого).

Книга (8): Умные *книги* читаю; Сочетаются ветер придорожный с *чернокнижием* уличных плит; Комната, *книга*, жена; Нам и нежность, и *книги*, и водка; От неприглядного разгрома Посуды, *книг*, икон, белья; Здесь согревалось все – и *книги* и картины, Все вещи вещице; Я в детстве прочитал стихи из отчей *книги*; И вышла ты из *книги*, из обмана, И в мой сошла молитвенный фиал.

Образ *книги* у Щиrowsкого чрезвычайно насыщен. *Книга* – это и память уличных плит о минувших событиях, и часть привычного поэту быта, и священный предмет, и источник знания, и возвышающий душу обман, сказка, из которой выходит любимая женщина.

Таким образом, даже беглый и предварительный анализ может показать, что в поэтическом языке Щиrowsкого Любовь-Нежность, Память, Древность и *Книга* – атри-

буты Души – противостоят Старости и Скуке – неизменным спутникам жизни Тела. Будущего как призываемого времени в поэзии Щиrowsкого нет вообще. Такова метафизика автора, более, чем кто-либо из его современников, заслужившего именование поэта-философа, но растворившего свою философию в совершенных образцах лирики.

Владимир Щиrowsкий – поэт чистой ноты. Его стихи входят в душу потому, что ею созданы и к ней обращены. Они исключительно музыкальны и даже хореографичны, их ритмы позволяют ощутить жизнь как игру и как танец, но, когда необходимо, им может быть присуща и скуповатость хроники, и скорбная протяжность элегии. Поэт не фальшивит в изображении своих чувств и не лукавит в своих мыслях. Ему свойственна исключительная интеллектуальная честность, позволившая по-своему увидеть мир и не обмануться ложными идеалами, которые подсовывала история. Обращение к поэзии Щиrowsкого означает для современного российского читателя не только запоздалое признание самого поэта, но и – главным образом – готовность признать его историческую и метафизическую правоту. Без такого признания неизбежно пострадает любое эстетическое чувство. Щиrowsкий не сводим к чистой лирике, равно как и к рациональным метафизическим конструкциям. Глазам современного читателя он предстанет как исторический мистик, последний акмеист, таланта и памяти которого, проживи он дольше, хватило бы на собственную «Поэму без героя».

*В. В. Емельянов
Санкт-Петербург*

КОММЕНТАРИИ

Стихотворения и поэмы В. Е. Щировского, публикуемые в настоящем издании, печатаются в основном по копиям из архива А. Н. Доррер. К сожалению, часть фонда в настоящее время находится на реставрации, поэтому к архивным материалам прибавлены тексты, не сверенные с автографами и публикуемые по печатным изданиям.

Редакционная коллегия серии «Малый Серебряный Век» и издательство «Водолей Publishers» приносят благодарность ЦГАЛИ Санкт-Петербурга за возможность ознакомления с сохранившимся архивом В. Е. Щировского, без которой наше издание не могло бы претендовать ни на научность, ни даже на минимальную полноту.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВ А. Н. ДОРРЕР

(Фонд В. Щировского: ЦГАЛИ СПб. Ф. 519)

Д. 1 – поэма «Ничто». Машинопись. 10 лл.

Д. 2 – стихотворения 1923–1934 гг. Машинопись. 22 лл.

В настоящее время на реставрации.

Д. 3 – стихотворения 1926–1941 гг. Копии рукой Е. Н. Щировской в школьной тетради с надписью на обложке: «Ранние стихи ленинградские и харьковские и Ничто». Тетрадь изготовлена в Ростове-на-Дону в 1954 г. Чернила. 13 лл.

Д. 4 – стихотворения 1933–1940 гг. Автограф. 9 лл. *В настоящее время на реставрации.*

Д. 5 – стихотворения 1937–1940 гг. Копии рукой Е. Н. Щировской на листах различного формата. Чернила и шариковая ручка. 15 лл.

Д. 7 – 3 стихотворения в письме Е. Н. Щировской к А. Н. Доррер (02.09.1955). Чернила. 3 лл.

Д. 8 – А. Н. Доррер. «Владимир Щировский». Биография. Автограф (1990). Чернила. 9 лл.

ПУБЛИКАЦИИ

Звезда – ж. «Звезда». 1991. № 5. С. 3–5. Вступ. заметка И. Сухих. Публ. Л. Г. Чащиной.

НБП – Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне / Сост. М. А. Бениной и Е. П. Семеновой. – СПб.: Академический проект, 2005. (Новая Библиотека поэта.) С. 470–488.

НМ – ж. «Новый мир». 1990. № 1. С. 164–167. Публ. А. Н. Доррер.

Огонек – ж. «Огонек». 1989. № 36. С. 16. Публ. Е. А. Евтушенко.

СВ – Строфы века. Антология русской поэзии / Сост. Е. А. Евтушенко, науч. ред. Е. В. Витковский. – М.–Минск, 1995; 1997. С. 501–508.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Д. 3. Л. 3. *Люцифер* – латинское имя дьявола. *Тарквиний Гордый Луций* (533–509) – римский царь, был изгнан из страны после насилия, совершенного его сыном над их родственницей Лукрецией. *Лука Джордано* (1634–1705) – итальянский художник позднего барокко. Среди его кар-

тин – «Тарквиний и Лукреция». *Фиал* (греч.) – чаша, бокал с широким дном.

2. Д. 3. Л. 3. Первые буквы каждой строки дают имя «Кита Городецкая».

3. Д. 3. Л. 2. *Элизиум* – в античной мифологии место, где пребывали души умерших героев. *Рокамболь* – здесь: старинная карточная игра.

4. Д. 3. Л. 3.

5. Д. 3. Оборот обложки и л. 6. *Пигалица* – чибис; в данном случае инвектива.

6. Д. 3. Л. 3; НМ, НБП.

7. Д. 3. Л. 2–3; НМ, НБП. *Айвенго* – герой одноименного романа В. Скотта (1820). *Секста* – в музыке название гармонического интервала, содержащего шесть ступеней. Здесь, видимо, речь идет о секстаккордах.

8. Д. 3. Л. 4–5. *Далила* – филистимлянка, похитившая прядь волос древнееврейского героя Самсона, что сделало его бессильным перед врагами. *Амфора* (греч.) – античный кувшин для хранения жидких и сыпучих тел.

9. Д. 3. Л. 4. *Бомарше* Пьер Огюстен Карон (1732–1799) – французский драматург и политический деятель.

10. Д. 3. Л. 4. = Д. 5. Л. 13.

11. Д. 3. Л. 9.

12. Д. 3. Л. 5.

13. Д. 3. Л. 5.

14. Д. 3. Л. 5–6.

15. Д. 3. Л. 7. *Нежный князь* – см. роман «Война и мир» (т. 4), где так назван Андрей Болконский. Здесь, вероятно, еще и намек на князя Мышкина.

16. Д. 3. Л. 6 = Д. 5. Л. 5. *И штаны замаравшего сына* – вар. *И штаны замочившего сына*. *Мнемозина* – греческая богиня памяти.

17. Д. 3. Л. 4; НБП. Посвящен Анне Петровне Шатиловой.

18. НМ, НБП. Эпиграф – из стихотворения Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835).

19. Д. 3. Л. 7; СВ. *Но сладко вспоминают руки – вар. Но сладко ощущают руки. И, слыша трезвый стук копытный – вар. И, слыша резкий стук копытный. Глядит партийный мой сосед – вар. Глядит случайный мой сосед.*

20. СВ. *Сандрильона* – т. е. Золушка. *Психея* – в античной мифологии олицетворение души, супруга Амура.

21. СВ, НБП.

22. Огонек, СВ, НБП.

23. Д. 3. Л. 8; СВ. Посвящено Екатерине Николаевне Рагозиной. *Легким снегом подернут путь – вар. Легким инеем подернут путь. Геба* – греческая богиня юности, дочь Зевса. *И потерянню и неловко – вар. И растерянню и неловко. Возведу ее нежной рукой – вар. Подсажу ее нежной рукой.*

24. Звезда, НБП. «*Мы на лодочке катались...*» – русская народная песня 1910-х гг.

25. Д. 3. Л. 12.

26. Д. 3. Л. 10 = Д. 7. Л. 3. Посвящено Екатерине Николаевне Рагозиной. *Терпсихора* – греческая муза танца.

27. СВ. *Амброзия* (и нектар) – еда и напиток богов в греческой мифологии.

28. Д. 3. Л. 8. *Дионисовы лозы* – виноградники греческого бога Диониса.

29. Д. 3. Л. 8–9. *Просодия* – раздел стиховедения, наука об ударениях.

30. Д. 3. Л. 11. *Патмосское виденье* – Апокалипсис (здесь – ужасные картины, увиденные Иоанном Богословом во время ссылки на о. Патмос). *Геликон* – в античной мифологии гора, где обитали музы.

31. Д. 3. Л. 11–12. *Смертию смерть поправшим триумфальным большевиком* – т. е. не пошел в кино по призыву В. И. Ленина, который «нетленным» лежит в Мавзолее.

32. Д. 3. Л. 10–11; Огонек. *И департамент геральдики строг* – вар. *Но департамент геральдики строг. Капитан Лебядкин* – герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы». *Дионис* – греческий бог виноградной лозы, здесь – жертва, растерзанная менадами (ср. «И комсомольская менада Меня в объятья заключит...»). *Варшавянка* – революционная песня на слова Г. М. Кржижановского. *Под аполлоновых лет лебедей* – вар. *Под Аполлоновых лет лебедей. Суламифь* – героиня библейской Песни Песней и одноименного рассказа А. И. Куприна.

33. НМ, НБП. *Кифаред* – древнегреческий певец, играющий на кифаре (струнный щипковый инструмент). *Анероид* – разновидность барометра. *Блуминг* – прокатный стан для обжатия стальных слитков. *Марсиас* (Марсий) – сатир, с которым Аполлон соревновался в игре на флейте и, победив, содрал с живого кожу.

34. Д. 5. Л. 10; Огонек, Звезда, НБП. *Менада* (греч.) – вакханка, участница мистерий бога виноградной лозы Диониса (рим. Вакх). *Я вдруг исчезну с головой* – вар. *Я весь исчезну с головой. В убогую теодицею* – здесь: в ложное представление о том, как устроен мир. *Посуды, книг, икон, белья* – вар. *Тетрадей, книг, икон, белья.*

35. Д. 5. Л. 11. *Форнарина* – дочь пекаря, в которую был влюблен Рафаэль.

36. Д. 3. Л. 9–10. *Ривароль* Антуан де (1753–1801) – французский писатель, автор афоризмов. *Лигейя* – героиня одноименного рассказа Э. По. *Бедный Эдгар* – Э. По. *Киприда* – один из образов богини любви Афродиты, почитавшийся на Кипре.

37. Д. 5. Л. 4; НМ, НБП. *Котильон* – бальный танец французского происхождения.

38. Д. 5. Л. 13; СВ, НБП. *Острова* (Елагин, Крестовский, Каменный) – излюбленные места гуляний в Петербурге. *Пять углов* – перекресток в центре Петербурга, где

сходятся четыре улицы – Загородный пр., Разъезжая ул., ул. Рубинштейна, ул. Ломоносова. *Неточка Незванова* – героиня одноименной повести Ф. М. Достоевского. *Монферран* Огюст (1796–1858) – петербургский архитектор. *Сон Фальконета* – «Медный всадник» работы Э. Фальконе (1782). *Манчжурские львы* – каменные львы, привезенные в 1905 г. из Манчжурии и установленные на Петровской набережной в Петербурге. *Поприщин* – герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

39. Д. 5. Л. 1; НМ, СВ, НБП. *Донна Анна* – жена Командора, героиня испанской легенды о Дон Гуане. *Эскорьал* – город в Испании (провинция Мадрид); также монастырь в этом городе. *Гранитный отец* – или намек на отца Т. Я. Щировской, или ошибка автора: Командор – «гранитный муж» Донны Анны.

40. НМ, НБП. *Тарантелла* – итальянский народный танец. *Перикола* – оперетта Ж. Оффенбаха (1868). *Сказочное пойло Арарата* – армянские виноградные вина, изготовленные в Араратской долине. *Вергилий* – древнеримский поэт, автор эпоса «Энеида», который в «Божественной комедии» Данте (1307–1321) проводит его по кругам ада.

41. НМ, НБП. *Скрупул* – единица аптекарского веса (= 1,244 г).

42. Д. 5. Л. 4; СВ, НБП. *Оссиан* – легендарный воин и бард кельтов (III в. н. э.). *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856) – русский философ. *Добродушного сытого чрева* – вар. *Добродушного трезвого чрева*.

43. Огонек, СВ, НБП.

44. Д. 5. Л. 1. *Зарема* – героиня поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

45. Д. 5. Л. 8; Звезда, НБП. *Коппелия* – балет французского композитора Л. Делиба (1870).

46. НБП. *Мафусаил* – библейский патриарх-долгожитель.

47. Д. 5. Л. 9; НБП. «Когда я был аркадским принцем...» – начало шуточного стихотворения второй половины XIX в. *Аркадия* – область в Греции, где, по преданию, жили счастливые пастухи и пастушки. *Целуя тысячу раз кряду* – вар. *Целуя тысячу раз сряду*.

48. Д. 5. Л. 8; НМ, НБП. *Ижица* – последняя буква до-революционного русского алфавита, исключена орфографической реформой 1917–1918 гг.

49. Д. 7. Л. 2; Огонек, Звезда, СВ, НБП. Посвящено Александре Николаевне Рагозиной (Доррер). *Корифейка* (проф.) – ведущая артистка кордебалета.

50. Д. 7. Л. 2; НБП. *Люлли* Жан Батист (1632–1687) – французский композитор. *Паки* (др.-рус.) – опять, снова. *Но почему-то не помню, что было потом* – вар. *И почему-то не помню, что было потом? Ты ли меня беззаветным франьем утомила* – вар. *Ты ли меня беззаветным франьем усыпила*.

51. Д. 5. Л. 9; НБП. Посвящено Александре Николаевне Рагозиной (Доррер). «*Карету мне, карету!*» – заключительная фраза финального монолога Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824). *Сведенборг* Эммануил (1688–1872) – шведский ученый и мистик.

52. Д. 5. Л. 1; НБП.

53. СВ. «*Жил-был король и у него жила блоха...*» – неточная цитата из начала песни М. П. Мусоргского «Блоха».

54. Д. 3. Л. 13 (обложка). *Невмы* – древнейшие знаки нотного письма (VIII–XI вв.).

55. Д. 3. Л. 12. *Голконда* – город и одноименное государство на юго-востоке Индостана, согласно легенде, славившийся своими алмазами; здесь: как и *Эльдорадо*, земля богатства и удачи.

56. Д. 5. Л. 14–15. *Страстной Четверг* – в христианстве день Тайной Вечери и предательства Иуды. *Эдил* – римский чиновник. *Лал* – минерал (красная шпинель).

ПОЭМЫ

57. Д. 1 = Д. 5. Л. 2–3 (фрагм.). *Так младость протекла – вар. Так молодость прошла. Я прочто был внедрен в мои младые дни – вар. Я прочно был внедрен в мои деньские дни. Для скуки такой – вар. Для скуки для такой. Вскую (др.-рус.) – зачем? Рамо Жан-Филипп (1683–1764) – французский композитор. И пронеслась над нами Румяная чума – вар. И пронеслась над нами Гражданская война. После «мой нежный друг, мой тихий Саша» вар. Мечтатель светлый и поэт... – вероятно, обращение к А. В. Науману. ДОПР – дом предварительного заключения. И жизнь мечтательно текла В холодном пафосе развала – вар. А жизнь лирически текла, И время раны врачевало. О, где вы, «фозы Леля»? – см. стихотворение Е. А. Баратынского «Старик» (1828): «Венчали розы, розы Леля, / Мой первый век, мой век молодой».*

58. Д. 5. Л. 6–7; СВ. *Агроному прохожему мечет в глаза – вар. Агроному прохожему мечет в глаза. Балалайка ночная – вар. Балалайка полночная. Веселые тыфусты – в рукописи пометка: «Веселые тыфусты (словотворчество Шурино)» (т. е. неологизм А. Н. Доррер). Мемуары Палеолога – записки французского посла М. Палеолога «Царская Россия во время мировой войны» и «Царская Россия накануне революции». Записки Шульгина – «Дни» (1920) и «Три столицы» (1925–26) монархиста В. В. Шульгина (1878–1976). Ланселот – рыцарь Круглого стола, влюбленный в Джиневру (*Гуниверу*), супругу короля Артура. Паоло и Франческа – погибшие от любви герои «Божественной комедии» Данте. Револют (фр.) – бунт.*

А. Н. Дорер. Владимир Щировский (1909–1941). Биография (1990). Д. 8. Л. 1–9. Александра Николаевна Доррер (Рагозина) – сестра первой жены поэта Екатерины Николаевны Щировской (Рагозиной). Ей посвящены многие стихотворения поэта.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. «Ужели Люцифер меня связал...»	3
2. А. П. Шатиловой. Акростих	3
3. Зеленая лампа	4
4. «Дни золоты и розы алы...»	5
5. «Пигалица злополучная...»	6
6. «Есть в комнате простор почти вселенский...»	7
7. Память	8
8. «Вот в слова пресуществилась сила...»	10
9. Театр в усадьбе	11
10. «Возьми меня к себе...»	11
11. «В милом доме, доме старом...»	12
12. «Взглянув на модное пальто...»	13
13. «Мудрая топится печь...»	14
14. Зеленый огонек	16
15. Поэт и Муза	17
16. Ладонь на глазах	19
17. Сонет	21
18. «Убийства, обыски, кочевья...»	22
19. «Нет, мне ничто не надоело!»	23
20. Дуализм	23
21. «Вчера я умер, и меня...»	26
22. Счастье	27
23. «Молодую, беспутную гостью...»	28
24. «Горсовет, ларек, а дальше...»	29
25. «Звучи, осенняя вода...»	30

26. Терпсихоре, Царскосельской статуе	31
27. «Слежу тяжелый пульс в приливах и отливах...»	32
28. «Жизнь томительно пятится...»	34
29. «Как изъезжены эти пути...»	35
30. От Иоанна	36
31. Кинематограф	37
32. На отлет лебедей	38
33. «В переулочек, где старцы и плуты...»	40
34. «Быть может, это так и надо...»	42
35. Танец у соседей	43
36. «Отъезд, вино...»	44
37. «Совсем не хочу умирать я...»	45
38. «Город блуждающих душ, кладезь напрасных снов...»	47
39. Донна Анна	48
40. «Скучновато слушать, сидя дома...»	49
41. «На твоей картине, природа...»	51
42. «На блюдах почивают пирожные...»	52
43. «Вселенную я не облаплю...»	53
44. «Был оглушитель и едок...»	54
45. «В балетной студии...»	55
46. «Осень, некуда кинуться нам со всех ног...»	56
47. Танец легкомысленной девушки	57
48. Танец бабочки	59
49. Танец души	60
50. Танец медведя	62
51. Вальс Грибоедова	63
52. Ничто	65
53. «Или око хочет, кои веки...»	65
54. «О, молодость моя невозвратима...»	66
55. Молитва о дикости	67
56. «Где над людской помойкой в гуле...»	69

ПОЭМЫ

57. Ничто	71
58. Бес	84
<i>А. Н. Дорфер.</i> Владимир Щировский (1909–1941). Биография	90
<i>В. Емельянов.</i> Владимир Щировский в садах двадцать первого века	98
<i>Комментарии</i>	125

Щиrowsкий В. Е.

Щ87 Танец души: Стихотворения и поэмы. – М.: Водолей Publishers, 2007. – 136 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 5–902312–96–5

Одним из вершинных достижений русской поэзии в 1930-е годы стало творчество В. Е. Щиrowsкого (1909–1941). Поэт, оказавшийся столь социально чуждым советской власти (он был сыном сенатора), работавший в провинции то сварщиком, то электриком, то попадавший за решетку, погиб в Керчи под бомбежкой в 1941 году; чудом сохранилась часть его архива. Эта книга – единственное собрание произведений Щиrowsкого. В книгу вошли также краткие воспоминания о нем А. Н. Доррер, подруги жены поэта.

ББК 84Р7-5

Щиrowsкий Владимир Евгеньевич

Танец души

Стихотворения и поэмы

Литературно-художественное издание

Технический редактор А. Ильина

Корректор В. Резвый

Подписано в печать 15.01.07. Формат 60x90/32

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль

Печать офсетная. Печ. л. 4,25

Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б

тел. (495) 786-36-35. E-mail: agathon@humanus.ru

Отпечатано в ИПП «Гриф и К°»,

г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а